Бархатный путь

Вадим Сергеевич Шефнер

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания ленинградского поэта и прозаика Вадима Шефнера

- Вадим Шефнер. БАРХАТНЫЙ ПУТЬ. Летопись впечатлений
  - Сгустки памяти
  - x x x
  - x x x
  - x x x
  - x x x
  - x x x
  - x x x
  - Средневековье души
  - x x x
  - x x x
  - Пиляне-топоряне
  - x x x
  - x x x
  - x x x
  - x x x
  - x x x
  - x x x
  - Слепой велосипедист
  - x x x
  - Биржевой день
  - x x x
  - Я — фабзаец
  - x x x
  - x x x
  - x x x
  - x x x
  - Горновой цех
  - x x x
  - x x x
  - x x x
  - x x x
  - x x x
  - Добрые гости
  - Полезная неудача
  - Ждали гостей недобрых...
  - Я — член литгруппы при «Смене»
  - x x x

- x x x
- x x x
- Архивариус и рабфаковец
- О любви не говори...
- x x x
- Дела медицинские
- x x x
- Друг и наставник
- x x x
- x x x
- Приобщение к профессии
- x x x
- x x x
- x x x
- x x x
- x x x
- День первой книги

Вадим Шефнер. БАРХАТНЫЙ ПУТЬ. Летопись впечатлений

Сгустки памяти

Настало время рассказать о том, какими дорогами и тропинками шёл я к своей первой книге стихов, которая увидела свет в 1940 году. Я здесь — не поэт, не писатель, — я рассказчик, повествующий о том, как он стал профессиональным литератором. Я — старикан у вечернего камина, а вы, уважаемые читатели, — мои гости. Воспринимайте это моё повествование не как письменное, а как устное. Это — не дневник, это — неторопливая моя беседа с вами и с самим собой. В ней нет линейной строго хронологической последовательности. Ведь порой события, расположенные во времени далеко одно от другого, с годами сливаются в нашей памяти в нечто единое, в сгустки впечатлений — и их уже не разъединишь, не разомкнёшь. А начну я с детства. Многое о нём рассказал я в повести «Имя для птицы», — но ещё не всё.

X X X

Хоть жили мы бедновато, но всё же почти каждое лето мать вывозила сестру мою Галю и меня куда-нибудь на дачу — то в Тайцы, то в Старый Петергоф, то в Горелово. Лучше всего запомнилось мне лето 1927 года, проведённое нами в Горелове. Посёлок этот считался самым недорогим дачным местом и в то же время славился своей картошкой; там песчаная, очень подходящая для неё почва. Мы сняли две комнаты в одной большой избе. Одну комнату заняла сестра матери тётя Вера с моей кузиной Таней и кузеном Толей, в другой поселились мы. Спали все на полу. Точнее сказать — на сенниках. Эти большие холщовые мешки мы привезли из города, и здесь хозяйка дала нам сена, чтобы набить их. Теперь это Горелово — даже не пригород, а почти что часть города. Трудно поверить, что в те годы это была вполне сельская местность и что мы с Толей, взяв верёвки, ходили в недальний лесок — и возвращались с вязанками хвороста. Дрова стоили дороговато, керосинкой — опять-таки из-за дороговизны керосина — пользовались не всегда; часто обед наши матери готовили на плите, которую топили принесённым нами хворостом.

Ребят в Горелове было много, и местных, и дачников. Я сдружился с группой мальчишек и девчонок моего возраста. Мы играли в лапту, в рюхи, в попа-загонялу, ходили вместе к песчаному карьеру, в лес. Среди девочек выделялась Муся-Маруся. Она была красивая.

Написал «красивая» — и призадумался. Ведь я забыл, как она выглядела. Приходилось верить самому себе на слово. Всем мальчишкам она нравилась — и мне тоже. Влюблён я в неё, наверное, не был, иначе бы запомнил её лицо, — но нравилась. С нею у меня связан один случай, смешной для других, но мне тогда вовсе не казавшийся смешным. Однажды шла небольшая наша компания через поле, отделявшее шоссе от железной дороги. Я всё старался чем-то выделиться, чем-то отличиться, чтобы привлечь внимание Муси-Маруси, дождаться похвалы из её уст. И вот, желая показать свою ловкость, я начал кувыркаться. Увлечённый этим делом, я не заметил свежей коровьей лепёшки — и кувыркнулся на неё спиной. Послышался общий хохот. Моя белая с синими полосами футболка оказалась заляпанной жидким коровьим помётом. Отделившись от идущих, я побежал на речку, — стирать футболку и отмывать спину.

После этого я три или четыре дня старался не показываться на глаза своим дачным товарищам, а Мусе-Марусе — тем более.

На душе у меня было муторно, мне чудилось, что все толкуют о моём позоре и даже кличку постыдную мне придумали — Лепёшкин, Говешкин, или что-нибудь в таком роде. Но на четвёртый или на пятый день как-то так получилось, что я опять примкнул к этой компании и мы отправились куда-то (куда — не помню). Я держался настороженно, я всё время ждал, что вот-вот начнутся насмешки; и в первую очередь я их от Муси-Маруси ждал. Но никто ни единым словом не упомянул о том недавнем случае. Из такта? Вот уж нет! Дразнить друг друга мы все очень любили, какой уж тут такт. Просто все уже успели забыть это происшествие, оно, видно, никому не показалось очень значительным. Это только мне оно почудилось огромным, всё затмевающим собой. Часто мы добровольно взваливаем на себя ношу стыда, — а стыда-то с маковое зёрнышко. Это и к взрослым — нам — относится. Не от тайного ли (но неосознанного!) самовозвеличенья это происходит? Не слишком ли большое значение придаём мы порою себе, не слишком ли далеко раздвигаем границы своего Я? Нам чудится: то, что с нами случилось, столь же значительно и для других. А у других — своя территория судьбы, своих дел и раздумий хватает. У других — свои неудачные кувыркания.

Впрочем, это сейчас я так рассуждаю. А тогда, в тот миг, когда я понял, что роковое моё соприкосновение с коровьим дерьмом всеми забыто, что на судьбе моей оно никак не отразится, — какая радость охватила меня! Каким обновлённо-светлым предстал мне весь мир! И какими добрыми, милыми показались мне лица моих товарищей по играм!..

X X X

Из взрослых запомнился мне в Горелове пожилой мужчина, которого там прозвали Жалельщиком. Он был не местный житель, да и не дачник, он приезжал гостить к кому-то; то появлялся, то исчезал на несколько дней. Природа дала ему лицо весельчака: какое-то удивительно круглое, будто циркулем вычерченное, — и удивительно толстые губы. Казалось, вот-вот он расхохочется ни с того ни с сего. Но он никогда не смеялся, даже не улыбался. В дни своих наездов в Горелово он часто сидел на скамье возле соседнего дома и, когда мимо проходил мальчишка с царапиной на щеке или с синяком на лбу, или девочка, вид которой ему казался грустным, он подзывал его или её к себе и принимался расспрашивать и утешать. Меня он тоже подзывал, расспрашивал, жалел. Выведав, что какое-то время я жил в детдоме, он утешал меня особо старательно и многословно, — хоть на детдомовскую жизнь я ему вовсе не жаловался. Говорил он как-то странно: то очень простонародно, то книжно. Слушать его нам, ребятам, было скучно, каждому хотелось поскорей смыться, но уходить от старших, когда они с тобой разговаривают, — неудобно. Так что поневоле приходилось слушать. Ребята — заглазно — гримасничали, изображая его, передразнивали, и я — тоже.

Жалельщик этот и взрослых изо всех сил жалел, ходил по избам утешать дачников. Иной дачник и здоров и весел, и тужить ему незачем, а Жалельщик всё равно найдёт повод для жалости, — и жалеет, утешает. Он и к нам несколько раз забредал, вёл свои разговоры. Мать и тётя Вера слушали его терпеливо. Однажды, когда я после его ухода стал гримасничать, передразнивая его, мать сказала, что грешно над ним смеяться: он всех жалеет, а сам несчастный. У него два сына погибли на германской войне.

Он и о зверях толковал, их он тоже жалел, сочувствовал им, даже диким и хищным. Им тяжело живётся, им приходится всю жизнь и за добычей гоняться, и от людей прятаться. Им когда повезёт, — а когда и голодают неделями. А у них ведь тоже дети, зверята на довольствии. Звери глупее людей, но всё-таки какой-то свой ум и у них есть. И, значит, бывают у них такие раздумья, когда они понимают всю неустроенность своей дикой жизни. Может, они даже плачут по-своему, по-звериному в такие вот минуты...

X X X

В том же Горелове, неподалёку от станции, был деревянный, маленький, дырявый от старости мостик, перекинутый не то через канаву, не то через ручей. Среди ребят шёл слух, что под мостиком тем живут гольцы, замечательные рыбы вроде налимов, — и притом очень хитрые. Время от времени мы вдвоём или втроём шагали к тому мостику — высматривать гольцов. Иногда мы даже ложились животами на тот мостик и всматривались в воду. И всё время строили планы, каким способом будем ловить этих рыб. Одни считали — надо на удочку, другие полагали, что необходимы сети. Однако никому ни разу не удалось приметить ни одного гольца. Взрослые утверждали, что никакой живности в той канаве и быть не может, но мы продолжали верить в этот миф для несовершеннолетних.

Однажды я один направился к тому мостику, — а вдруг повезёт, а вдруг увижу эту таинственную рыбу? Заодно я собирался побродить по станционной платформе в поисках билетов, которые некоторые пассажиры бросают, выходя из вагона. Пригородные билеты были тогда не бумажные, как теперь, а картонные, такие же, как для поездов дальнего следования. Среди гореловских дачных мальчишек существовало поверье, что если ты соберёшь тысячу использованных билетов и сдашь в Питере в главную железнодорожную кассу, то тебе сразу выдадут бесплатный билет от Ленинграда до Ташкента и обратно, да ещё сколько-то там денег дадут на питание в дороге. Ну, в эту творимую легенду я не слишком-то верил, пребывание в детских домах дало мне некоторый жизненный опыт, которого не было у здешних ребят. Но билеты я собирал наравне со всеми — из чувства соревнования.

Когда я в тот день подошёл к станции, то увидел, что у насыпи, в стороне от крытой рифлёным железом платформы, стоит толпочка человек в пятнадцать-двадцать, — и все смотрят вниз. Я подошёл к ним. Эти люди стояли вокруг молодой женщины. Она лежала неподвижно возле откоса, где росла трава и цветы кошачьи лапки. На туловище была наброшена старая клеёнка, в двух местах прожжённая утюгом; эти следы утюга выделялись очень отчётливо. Из разговоров взрослых я понял, что женщина сама бросилась под поезд, что она мертва, и что уже вызвана подвода, на которой её отвезут в Красное Село, в больничную покойницкую.

— Катись отсюда! — строго приказал мне человек в железнодорожной фуражке. — Катись, не твоя тут забота!

Но я и не собирался стоять там. То была действительно не моя забота. Эта чужая смерть по личному желанию показалась настолько чуждой и непонятной моему уму, что душа моя обошла её стороной. Зачем кидаться под поезд, зачем умирать, если есть на свете Муся-Маруся, если на платформе можно собирать билеты, если есть надежда, что под мостиком на самом деле прячутся гольцы?!

У взрослых дачников несколько дней подряд только и разговоров было что о той несчастной. Потом все о ней забыли. И я вроде бы совсем забыл о ней. И даже когда года через три-четыре прочёл «Анну Каренину», — о гореловском самоубийстве вовсе не вспомнил. Очевидно, характер Анны дан Толстым настолько отчётливо и судьба её настолько сама в себе, что хоть женщина из Горелова и выбрала себе такую же кончину, но никакой связующей параллели в сознании моем не возникло. Однако в каком-то потайном кармане памяти моей тот эпизод всё же хранился, — хранился, как непроявленный снимок. И когда я (позже, чем «Анну Каренину» Толстого) впервые прочёл стихотворение Блока «На железной дороге», первые же его строки «Под насыпью во рву некошенном Лежит и смотрит, как живая...» — сразу же вызвали из небытия тот день в Горелове. Стихотворение наложилось на минувшее, проявило его в моей памяти — и это уже до конца дней моих. И — главное — Блок пробудил во мне жалость к той, погибшей в Горелове. Я как бы увидел её не только мёртвой, но и живой, той, какой она была до своей смерти. Поэт не убил её, послав под колёса, — он её обессмертил.

Блок — любимый мой поэт. Но тайна обаяния его стихов, тайна их воздействия на меня, мне до сих пор неясна. Быть может, одна из граней этой тайны в том, что Блок не боялся повседневности, быта, обыденности. И даже пошлости не боялся. Эта небоязнь будничности, этот сплав горнего и дольнего, низкого и возвышенного, банального и сказочно-необычного придают его поэзии удивительную естественность. Стихи его берут меня за душу чистотой своего тайного замысла, и чистота эта не стерильно-лабораторная, не внешнезаданная. Нет, она рождена духовной борьбой поэта со злом, она пронизана любовью к жизни. Не к сладенько-сытому существованию, а к Жизни с большой буквы, — со всеми её высокими тревогами, надеждами и крушеньями.

У Блока в сегодняшней русской поэзии прямых наследников нет. Но он вошёл в неё прочно и неотделимо. Вошёл через современников своих, на которых косвенно влиял, хоть они того и не ощущали. И эта незримая эстафета идёт от поколения к

поколению. Я сказал «незримая», ибо явных продолжателей у Блока никогда не было. Есть большие поэты, у которых можно учиться впрямую, усваивать их образцовый строй, внешние приёмы и даже интонации — и в то же время оставаться самим собой. У Блока впрямую учиться нельзя. Он шёл в поэзии по такому тонкому лезвию, что каждый, кто попробует идти по его следам, погибнет для поэзии. Произойдёт вульгарное подражательство, обезьянничанье.

Блок — целиком — «дошёл» до меня довольно поздно. Конечно, и в дни своей юности я знал наизусть многие его стихи, — однако не потому, что так уж они мне нравились, а просто потому, что память на всякие стихи у меня неплохая. Неплохая, но неразборчивая, глуповатая: хватает, вбирает в себя не только то, что можно считать подлинной поэзией, но и всякие стихотворные поделки, песенки бульварные, — и даже откровенную похабщину. Одним словом, — память-хулиганка. И лишь тогда, когда я вернулся в войны, испытав блокаду, потерю матери, гибель друзей, сам отлежав месяц с лишним в блокадном госпитале из-за тяжёлой дистрофии, — лишь тогда я принял Блока не памятью, а всей душой и всем сердцем. Но зато уж принял навсегда, и навсегда он стал любимейшим моим поэтом. И сразу «мир стал заманчивей и шире».

Люблю я его не только за его стихи, но и за то, что он был таким, каким он был. Я убеждён, что не найти в XX веке поэта более трагически незащищённого и в то же время не сыскать поэта более смелого в своих откровениях и предвиденьях. А если говорить по более узкому, сугубо личному счёту, то для меня, коренного питерца, Блок притягателен ещё и тем, что он, как никто другой в нашем веке, ощутил и расшифровал красоту Петербурга-Петрограда, понял буднично-таинственную суть моего любимого города.

Если бы меня на долгий-долгий срок послали или сослали куда-нибудь на дальнюю-дальнюю планету, но при этом разрешили бы взять с собой мои любимые книги, — много-много томов пришлось бы погрузить в звездолёт. А вот книг со стихами Блока я не взял бы, ибо почти всего его помню наизусть. Он — всегда со мной, и я — всегда с ним.

X X X

Бывают у меня вспышки памяти. Вдруг отчётливо вспоминается то, что, казалось бы, навсегда (и вполне заслуженно) забыто, затушёвано временем. Эти вспышки случаются тогда, когда возникает некое событие, которое не обязательно впрямую, но хотя бы какой-то гранью своей имеет отношение к тому, которое забыто. Но при этом новое событие должно быть сильнее, значительнее того, которое подспудно хранится в памяти.

Однажды Ленька Егоров, мой школьный товарищ, сидя рядом со мной на парте, спросил меня:

— А ты ещё не жертвовал?

— Нет, — ответил я.

— А я в прошлом году жертвовал. На пару с Рыжим. Но он дурак ленивый, в нём активности нет. Хочешь со мной в этом году жертвовать?

— Хочу, — ответил я.

«Жертвовать» на тогдашнем школьном жаргоне означало собирать добровольные пожертвования в пользу общества «МОПР» (Международное общество помощи революционерам.) или «Друг детей». И вот, записавшись заранее, в середине мая пошли мы в Василеостровский райсовет, на Большом проспекте, и там девушка под расписку вручила нам овальную жестяную кружку с продолговатым отверстием для опускания монет. Кружка была плотно закрыта и оклеена бумагой, на которой виднелся номер и лиловая круглая печать. На закраинах кружки поблёскивали два колечка; к ним крепился шнур, чтобы носить её, перекинув этот шнур через плечо. Затем девушка выдала нам букетик бумажных розовых маков с проволочными, обмотанными зелёной бумагой стебельками, и удостоверения на право сбора пожертвований. В этих удостоверениях таилась великая сила: они давали, при наличии у вас кружки и цветов, права на бесплатный проезд в трамвае. Можно был ездить по всему Питеру! Это ли не удовольствие?!

Тут я должен сделать пояснительное отступление для тех, кто моложе меня. Хоть городской транспорт и очень подорожал у нас за последнее время, но всё-таки, по сравнению с ценами на продукты и вещи, он не очень дорог. Не так было в годы двадцатые. Тогда было иное соотношение цен. Даже некоторые взрослые отказывались от трамвая и ради экономии порой ходили на работу пешком. У большинства же школьников денег вовсе не водилось, а прокатиться «зайцем» было очень нелегко. В

каждом вагоне, справа от входа, сидел кондуктор. Он следил, чтобы все пассажиры ехали согласно купленным ими билетам. Над сумкой у него висели три рулончика с билетами разных цветов. Цвета я позабыл, но помню, что если едешь недалеко — платишь семь копеек, если подальше — десять, а проезд по всему маршруту стоил пятиалтынный. Сумма огромная! В переводе на мороженое — три порции! Так что не надо удивляться тому, что нам с Ленькой очень хотелось покататься по Питеру задарма.

На следующий день я с утра набил карманы курточки кусками хлеба и отправился на угол Среднего проспекта и Восьмой линии, где у трамвайной остановки ждал меня мой напарник. Вскоре подошла «шестёрка». Народу в вагоне в то воскресное утро было немного. Кондуктор покосился на нас, — но и только; прогнать не имел права. Ленька громко, но не вполне внятно, проглатывая от смущения окончания некоторых слов, произнёс:

— Граждане! Помоги(те) кто сколько мо(жет), кто сколько хо(чёт) в пользу беспризорных дефективных де(тей)!

Мы прошли до двери на переднюю площадку, — Ленька с кружкой, я — с цветами. Два или три пассажира опустили в кружку по монетке, и я выдал им по цветку. Сошли мы на площади Труда, возле тёмно-красного Благовещенского собора, который ещё высился там в те времена. Здесь я намекнул Леньке, что не стоит призывать к пожертвованиям в пользу *дефективных* детей. Ведь не все беспризорные — дефективные. Но Ленька возразил мне, что так больше «жалобности», так больше подадут. И не тебе, Косой, толковать об этом, ведь ты — сам из дефективников, это все знают. Спорить с Ленькой было бесполезно, к тому же подошёл очередной трамвай. Началось наше катанье по городу. Много где мы в тот день побывали! И на Невском проспекте, и на Шлиссельбургском, и на Охте, и у Детскосельского вокзала, и у Варшавского...

Когда трамвайная езда нам слегка поднадоела, мы сошли у Финляндского вокзала — и решили идти на родной Васильевский остров пешим ходом. Цветов осталось у нас совсем мало, зато кружка приятно потяжелела; тут надо учесть, что мелочь в те годы чеканилась из меди, монеты были крупнее и тяжеловеснее, чем нынче. Мы пересекли Нижегородскую улицу, не спеша прошлись по тишайшей, мощённой деревянными шашками Клинической, с неё свернули на проспект Карла Маркса. В те времена этот участок проспекта не отличался многолюдьем. Не доходя до Боткинской улицы, Ленька замедлил шаг, оглянулся по сторонам и тихо сказал, что неплохо бы нам вытрясти из кружки несколько монеток на пирожки. Мы собираем деньги для детей,

но мы ведь и сами почти дети. К тому же ты, Косой, как дефективник, имеешь полное право на пирожок. Оглядевшись, нет ли поблизости дворника, мы вошли в парадное, прислушались, не спускается ли кто по лестнице, — и я подставил ладонь, а Ленька стал трясти кружку, перевернув её вверх дном. В ней — мы знали, — кроме медных монет, есть и две серебрушки. Они-то, по нашему предположению, как более мелкие по формату, и должны были выпасть.

Однако тряс-тряс Ленька кружку, а из неё ничего не вытряхивалось. И вдруг в подъезд вошёл пожилой, долговязый дяденька. Он сразу расчухал, в чём тут дело, стал ругать нас, заявил, что сейчас отведёт нас в милицию. Но потом, вероятно, понял, что мы от него сумеем убежать, — и тогда он вслух прочёл номер, обозначенный на кружке, а затем сказал, что номер этот он запомнил твёрдо — и всё сообщит по инстанции. Ждите, мазурики! Вас скоро вызовут куда следует!

Мы выбежали из подъезда в панике. Попыток вытрясти из кружки её содержимое больше не предпринимали, в целости и сохранности сдали её девушке в райсовете, — и несколько дней ждали с душевным трепетом, что нас вызовут «куда следует». Но всё обошлось благополучно, никуда нас не вызвали. Годы шли, постепенно этот случай вроде бы начисто выветрился из моей головы, — будто его и не было. И вдруг, через много лет, он вынырнул из памяти при совершенно иных обстоятельствах.

Летом 1943 года я ехал в трамвае с Петроградской стороны в сторону Финляндской железной дороги, чтобы сесть на поезд, идущий в Токсово, где находилась редакция армейской газеты «Знамя победы», в которой я работал. Когда трамвай съезжал с Сампсониевского моста, начался обстрел. Разрывы слышались откуда-то слева и спереди, — примерно, со стороны Нижегородской улицы. У Боткинской улицы, где трамвайный путь делает поворот, пересекая проспект Карла Маркса, вагон остановился, не доезжая до становки. Разрывы приближались. В тогдашних трамваях скамьи для пассажиров были расположены в два ряда вдоль всей длины вагона. В тот день в вагоне было, помнится, не тесно; никто не стоял. Однако обе скамьи были заняты. Люди сидели — один ряд против другого — и молчали. Покидать вагон не имело смысла: как знать, — сойдёшь с подножки, побежишь прятаться в подворотню, а тут-то тебя и кокнет прямым попаданием. К тому же до ближайшей подворотни не так уж и близко...

В перерывах между разрывами раздражал каждый шорох, каждое движение соседей. Все сидели неподвижно — и вслушивались.

— Теперь ближе кладёт, — сказал один из пассажиров. Все оглянулись, посмотрели на него неприязненно. Казалось, каждый вдумывается во что-то своё, хочет решить для себя какой-то вопрос, от решения которого зависит очень-очень многое. А мне в этом квадрате обстрела судьба заготовила особый сюрприз: из окна вагона была видна стена клиники Виллие, и я сразу вспомнил, что напротив, вернее — чуть наискосок от больничного здания, по другую сторону проспекта стоит тот дом, в подъезде которого мы с Ленькой пытались вытряхнуть из кружки деньги — на пирожки. И все подробности того давнего, казалось бы навек забытого, события возникли в моей памяти с какой-то подавляющей, устрашающей душу точностью. И хоть грех наш был невелик, да его в сущности-то и не случилось — ведь свой жульнический план осуществить нам не удалось, — но теперь мне почудилось, что не так-то всё просто. Мне пришло в голову, что между этими двумя событиями — обстрелом и делом с кружкой — есть фатальная связь. Под обстрелами и бомбёжками я уже бывал, у меня даже контузия была (лёгкая, без последствий). Я думаю, не найдётся человека, который скажет, что под бомбёжкой и обстрелом — не страшно (а если скажет так — то соврёт). Но рядом со страхом всегда живёт надежда, что всё обойдётся, что судьба и на этот раз помилует, что эти бомбы, эти снаряды посланы наугад, вслепую... А вот здесь, возле клиники Виллие, меня охватило чувство предсмертной безысходности. Мне показалось, что судьба прозрела, — и именно меня взяла на прицел. Каким-то краешком ума я понимал, что думать так — глупо. Но от этого было не легче: я был уверен, что вот-вот следующий снаряд долбанёт в наш вагон. Сейчас-сейчас меня вызовут куда следует. Вызовут на тот свет, которого нет...

Но и на этот раз никуда не вызвали.

Обстрел кончился, однако трамвай остался стоять на месте, — провода были перебиты. Все пассажиры вышли и пошли пешим ходом по направлению к Нижегородской улице. Вышел и я. На душе у меня было удивительно легко. Мне чудилось, что я только что избежал величайшей опасности в своей жизни. Одновременно я чувствовал себя дураком. Но дураком везучим, дураком счастливым! И каким уютным, домашним, добрым казался мне в те минуты город, по которому я иду!..

X X X

Несколько лет тому назад, бродя по Петроградской стороне, я вдруг вспомнил, что забыл имя одного своего фронтового сослуживца. Правда, человек этот в редакции армейской газеты «Знамя победы» служил недолго, он вскоре был переведён в другую газету, да и в судьбе моей никакой роли не сыграл, — и всё-таки в таких провалах памяти есть нечто обидное. Ведь забывая имя человека, ты как бы оскорбляешь его. И уж кого-кого, а тех людей, с которыми делил блокадный хлеб, надо помнить поимённо.

Занятый такими мыслями, я машинально свернул с шумного Чкаловского проспекта на Ординарную улицу. И вот, шагая по ней, я вспомнил забытое имя. С тех пор, когда мне необходимо что-то вспомнить, когда что-то забытое или полузабытое никак не хочет воплотиться в точное слово, — я иду на эту улицу (она от дома, где я живу, совсем недалеко). И там память моя иногда срабатывает, даёт вспышку.

В чём тут дело — не знаю. Улица — ничем не примечательная, никаких архитектурных красот на ней нет, никаких важных для меня событий на ней не происходило... И ничем она мне не обязана. Так почему она взялась помогать мне? Быть может, память моя, однажды воскресив на этой улочке имя, которое, казалось, навек было погребено под слоями времени, теперь каждый раз обретает там уверенность в своей силе?

X X X

Есть вспышки памяти, но бывают у неё и осечки.

Был у меня школьный товарищ по кличке Стульчак, парень очень развитой. А кличку такую ему присобачили из-за его фамилии, — вполне пристойной, но отдалённо схожей по звучанию с наименованием этого бытового предмета. Одно время я сидел с этим Стульчаком на одной парте, и он задавал мне иногда очень хитроумные вопросы; на них и мудрец не смог бы дать точных ответов. Например: «Гроб — это что: мебель или жилплощадь?» А однажды он написал карандашом на промокашке: «Я иду с мечем судия», — и спросил, не догадываюсь ли я, в чём тут дело. Я честно признался, что нет, не догадываюсь. И тут он предложил мне прочесть эту фразу с конца. Я прочёл. Получалось то же самое! Вот здорово!

А как-то раз Стульчак спросил меня на ушко, знаю ли я, что жираф — длинношеее животное. Я ответил, что это каждый дурак знает.

— Тогда так и напиши: «Жираф — длинношеее животное». А я уж проверю, дурак ты или умный.

Я написал эту фразу на обложке тетради. Стульчак прочёл и ехидно прошептал: «Тебе „неуд“ причитается». Окунув ручку в чернильницу, он добавил к слову «длинношее» (так я написал его) третье «е». Затем заявил, что я начинаюсь не с буквы «у», а с буквы «д».

Я был не столько обижен, сколько удивлён и даже очарован. Только подумать, — оказывается, существует совсем особенное слово, — слово с тремя одинаковыми буквами на конце! Дома я стал поочерёдно экзаменовать взрослых, а также кузину и кузена, — но все они, представьте, давно знали, в чём тут секрет, и слово это писали правильно, к некоторому моему огорчению.

С неделю я ломал голову — искал другое слово, которое бы тоже оканчивалось на три «е». На эти поиски толкали меня, так сказать, два самолюбия: внешнее, — ибо мне хотелось блеснуть своим открытием перед Стульчаком, и внутреннее; я хотел доказать самому себе, что котелок у меня всё-таки варит неплохо. Кроме того, во мне, наверно, и лингвистический интерес пробудился.

И вот однажды утром я это слово нашёл. Нашёл я его в полусне — и стал твердить, зубрить его. Радость моя была прямо-таки необычайна. Но потом я снова вздремнул, а когда пришло время встать и одеться, я вдруг забыл это слово. Весь день я мучил свою голову, пытался вспомнить его — и всё впустую. С

того дня прошло много десятилетий — и до сих пор не могу воскресить его в памяти, хоть и пытаюсь время от времени. Быть может, я тогда просто выдумал о сне какое-то бессмысленное слово с тремя «е», а когда проснулся, то, естественно, забыл его? Но иногда мне кажется, что есть в русском языке это таинственное слово, — надо только его найти, вспомнить.

Средневековье души

Когда вглядываешься в своё прошлое с высоты (или из глубины?) нынешних лет, то поначалу кажется, будто всё в моей жизни и судьбе совершалось плавно, постепенно; кажется, что каждое событие, каждое душевное состояние как бы прирастало к другому, последующему. И возрасты — детство, отрочество, юность, зрелость, старость — тоже плавно, без толчков, смыкались, — сливались неразделимо. И катился я вроде бы по некоей гладкой колее, где нет зазоров между рельсами. Бархатный путь, как говорят железнодорожники. Другое дело, что с этого бархотного пути я мог загреметь «как поезда с откоса» по причинам от меня не зависящим.

Память хитрит, ленится. Но когда возьмёшь её за шкирку да расспросишь построже, то выясняется, что не так уж и гладок был путь. И начинают проступать стыки, стрелки; поезд воспоминаний теряет свой ровный ход. Возникают полузабытые полустанки, резкие торможения, непредвиденные стоянки в тупиках. И яснее обозначаются лица пассажиров-попутчиков.

X X X

Мне было четырнадцать лет. А в кинотеатре «Форум», напротив нашего дома, крутили не новый, но нашумевший фильм-боевик «Куртизанка на троне». Чьего он был производства, какие актёры в нём играли — я не знал. И что в точности там происходило — знал только по слухам, со слов старшеклассников нашей школы. А они им восторгались. Ещё бы! Там кто-то кричит этой самой куртизанке: «О, Мессалина, ты — проститутка!» И мне очень хотелось узреть эту Мессалину и артиста, крикнувшего ей такую фразу, точнее — прочесть своими глазами титр с этим выкриком (кино было ещё немым). Я знал, что детям до шестнадцати лет вход на эту картину запрещён, и понимал, что меня, при моём малом росте, в кинозал не пустят, дадут от ворот поворот, — и всё же стал клянчить у матери деньги на билет, именно на «Куртизанку». Мать отказала, и я надерзил ей. Произошло это в прихожей, в присутствии дяди Кости, брата матери. Дядя Костя сказал, что я становлюсь несносным, что у меня начинается переломный возраст. А его гость, надевавший в это время пальто, добавил полушутя, что всех отроков на время их переломного возраста надо бы сажать в исправдом, — для их же пользы и на благо обществу.

В том переломном возрасте на меня находили иногда какие-то приступы ленивого тупоумия. А то вдруг овладевала мной жажда справедливости, которая почему-то перевоплощалась в несправедливое отношение к другим, в грубость. И многие мои мысли, многие поступки были глупее, нелогичнее нежели в предыдущие, детские, годы. Наступило некое средневековье души. И длилось оно два-три года.

Сумбур, царивший в моей голове, усугублялся ещё и тем, что я вовсю сочинял стихи. То были корявые подражания Сергею Есенину — и одновременно полной его противоположности, Валерию Брюсову. И текли из-под моего пера то вирши о несчастной любви, от которой лирический герой бежит в кабак, а затем «повисает на петле тугой», то длиннострочные опусы об египетских пирамидах, о жрецах Ра, о таинственных многовесельных триремах, гибнущих в «кораблекрушительных морях». Стихи плохие, слабые. Но осуждать себя за них, смеяться над собой — не хочу. Есть на Балтике старые форты, построенные на островках. А когда-то островков этих не было. Их создали люди. Привозили на баржах камни, щебень, песок — и ссыпали их на дно, год за годом, пуд за пудом, лопата за лопатой. И создали из этого бросового материала островки. И на них возвели

различные каменные сооружения. В искусстве тоже так. Надо ссыпать-ссыпать-ссыпать в неведомую глубину черновой, безликий, бесформенный шлак и щебень, никому, кроме тебя, не нужный, — да и тебе нужный только в силу его ненужности. И вот возникает твой островок. На нём ты начинаешь, в меру своих сил и способностей, строить то, что может пригодиться не только тебе, но и другим.

X X X

Ладно бы, если бы только стихи Есенина и Брюсова были источником моего скудного вдохновения. Должен признаться, что был ещё и иной источник. В то давнее время у ребят моего возраста ходили по рукам тетрадки с тщательно переписанными фривольными поэмами неизвестных авторов, — «Испанская трагедия», «Екатерина Вторая и граф Орлов», а также сочинения, приписываемые Баркову. Я тоже решил попробовать свои силы в этом соблазнительном жанре, — и за несколько дней сотворил поэму. Умолчу о её названии, скажу только, что у моих одноклассников она имела успех, — и на пользу мне это не пошло. Однажды на уроке математики педагог приметил, что ученик по кличке Мартышка, сидевший через парту от меня, с необычной для него старательностью склонился над тетрадью. Это вызвало в учителе какие-то подозрения, и он потребовал, чтобы Мартышка предъявил ему эту тетрадь. Мартышка был лодырь изрядный, но парень хороший. Ему не хотелось подводить меня, но дело кончилось тем, что настырный математик чуть ли не силой завладел моим творением. А что оно моё, бросалось в глаза с первого взгляда: обуян авторской гордыней, над непристойным названием поэмы я чётко обозначил своё имя и фамилию, — знай наших!

Математик отнёс злополучную тетрадь в учительскую. Делу был дан ход. Опасность усугублялась тем, что педагоги уже знали меня как сочинителя стшков-дразнилок. Плохо было и то, что в школе уже «имелись случаи нетоварищеского отношения мальчиков к девочкам», и один такой случай произошёл через день после того, как я вляпался в беду со своей поэмой. Виновником нового происшествия был мой одноклассник по прозвищу Стригун; одна преподавательница застала его в раздевалке в тот момент, когда он тискал девочку. Всё это стало известно даме-педологу из РОНО. По её настоянию в школе состоялось собрание «только для педагогического состава и мальчиков». На собрание то должны были явиться все ребята из нашего и параллельного класса. И в первую очередь — те, из-за которых сыр-бор загорелся.

Первым рассматривалось «дело» Стригуна. Он смиренно оправдывался, но мы, его одноклассники, не очень-то верили в это смирение. Мы знали, что Стригун очень остёр на язык, — и очень уважали его за это. Ну, а кличку такую ему дали потому, что носил он чрезвычайно короткую стрижку, почти под ноль; это мать стригла его так — ради гигиены. На кличку свою он

откликался без обиды, он был умён и добр...

По-видимому, некоторые педагоги ждали от Стригуна более искреннего покаяния, и вот преподавательница пения громко, сердито обратилась к нему:

— Скажи, наконец, нам: что ты делал за пазухой у Рыбаковой!?

— Я... Я искал калоши.

Ребята захихикали. А педагоги сочли этот ответ издевательским и усилили свои нападки на Стригуна. Тогда он стал объяснять им, что после окончания учебного дня в раздевалку устремляется много учеников, и начинается толкотня и неразбериха, и с калошам происходит путаница, — не сразу каждый свои находит. И вот, пока он искал свои калоши, его в этой сумятице, совсем не по его вине, притиснули к Рыбаковой...

Дело кончилось тем, что Стригуну дали строгий выговор, а его фразочка «Я искал калоши» прочно вошла в школьный лексикон.

Несколько слов о калошах. В те времена их носили почти все — от мала до велика, так что перепутать эту уличную обувь было нетрудно. Правда, в обувных магазинах продавались специальные медные буковки — на весь алфивит. Такие буковки — свои инициалы — каждый мог закрепить внутри своих калош, чтобы было ясно, кому принадлежат данные мокроступы. Но этими медными инициалами пользовались только взрослые, а молодёжь считала, что неудобно, мелкобуржуазно подтверждать таким способом свою личную собственность. Тогда многое считалось мелкобуржуазным, нэпманским, мещанским — и многое правильно. Но были и перегибы. Например, одно время среди старшеклассников велись дебаты на тему: надо ли чистить ботинки? Ведь если рассуждать логично, обувь служит для предохранения ног от холода и грязи, и назначение ботинок — чисто функциональное, служебное. Какой же смысл придавать им лоск, тратить время на бесполезное украшательство?

Но вернусь к тому собранию и к себе, грешному.

Педагоги, видать, основательно проштудировали моё творение. Это чувствовалось по всему, — и по укоризненным взглядам их, и по репликам. Я оправдывался как мог, твердил, что больше не буду. Преподавательница русского языка Нина Петровна Журавлёва встала на мою защиту. В начале года мы писали сочинение на вольную тему, и Нинушке (так мы её за глаза звали) моё сочинеие понравилось, она всему классу его вслух прочла. И вот теперь она сказала, что моя, с позволения сказать, поэма — явление безусловно отрицательное и даже хулиганское, но я уже осознал свою ошибку, и такое больше не

повторится. К этому она добавила, что у меня есть способности к стихосложению, только я использую их пока что неправильно.

Вслед за доброй Нинушкой взяла слово другая учительница. Она сердито процитировала из моей поэмы строки, где некий Трипперман восклицает:

И честная моя моча
Струится, ласково журча!

— Но почему «честная»?! Почему «честная»?! — негодующе вопрошала она. Чувствовалось, что это слово возмутило её больше, нежели все непристойности, щедро рассыпанные по страницам поэмы. — Как это об э т о м — и «честная»?!. Какая дикая, беспросветная чушь!

А я-то считал этот эпитет своей ценной творческой находкой! Дело в том, что Трипперман, несмотря на свою венерическую фамилию, был здоров во всех отношениях; именно это я и хотел подчеркнуть. Но когда начал втолковывать это педагогам, то запутался, понёс какую-то ахинею. Мне велели замолчать. Слово взяла дама-педолог из РОНО. Говорила она долго и неторопливо — и так научно, что я не мог понять, к чему она клонит. Но когда она охарактеризовала меня как «подростка, которому угрожает дегенеративно-психологический сдвиг», у меня мелькнула догадка, что она здесь — главная моя врагиня, она хочет засобачить меня не то в школу для дефективных, не то в психбольницу... Надо учесть, что в те времена слово педолога имело большой вес, лишь незадолго до войны педология была признана лженаукой и упразднена начисто.

Однако дальше женщина эта повела речь о том, что когда в школах будет налажено здоровое сексуальное воспитание — тогда не будет ни приставаний к девочкам, ни хулиганских поэм. Получалось, что лично я не так уж и грешен, что тут повинна среда, несовершенство учебных программ, — одним словом, обстоятельства, от меня не зависящие. Закончила она свою инвективу обнадёживающе. Да, поэма — явно бульварная, антихудожественная. Однако этот Шефнер, в меру своих слабых возможностей, попытался разоблачить враждебную нашему обществу деятельность нэпмана, который ухитрился на базе прогоревшей пивной организовать подпольный публичный дом. Это разоблачение надо считать фактором положительным.

Действительно, в поэме действовал некий Люэсов, изрядный прохвост.

Кровати притащив в подвал,

Сей нэпман организовал,
Поставив на пивнухе крест,
Пубдом на сорок спальных мест.

И дни, и ночи напролёт
Туда шагал мужской народ,
И Люэсову шла деньга,
А грешным девам — ни фига.

Против буржуя сорок дев
В итоге заимели гнев.

Эти строки о зловредном Люэсове были в поэме самыми пристойными. Далее шло подробнейшее описание забастовки и мятежа разгневанных дев, — сплошная матерщина. Но, так или иначе, этот разоблачённый мною нэпман, очевидно, через даму-педолога, — помог мне. Да и всё это педагогически-педологическое судилище закончилось приговорами более мягкими, чем мы ожидали. Четыре грешника получили выговора, меня же и ещё одного греховодника постановили перевести из 215-й школы в 219-ю, — и в школу отнюдь не дефективную, а вполне нормальную. Напомню читателям, что нынешняя нумерация питерских школ не соответствует тогдашней; за шестьдесят с лишним лет она не раз менялась.

Как ни странно, мать отнеслась к этой истории с поэмой куда спокойнее, нежели я ожидал. Быть может, она восприняла всё это как некий неизбежный этап в развитии моих способностей; этап скандальный, неприятный, но который, именно в силу своей постыдности, должен научить меня воздерживаться в дальнейшем от сочинения подобных поэм? И — кто знает! — быть может, она считала, что и эта злополучная поэма тоже была тем необходимым шлаком, который надо ссыпать-сыпать-ссыпать в глубину моря, чтобы, наконец, возник тот островок, на котором я смогу начать строить что-то своё, настоящее, хоть мало-мальски нужное не только мне, но и другим?

Пиляне-топоряне

В ту отроческую свою пору был я бестолков, расхлябан, часто огорчал мать глупым, самому мне непонятным непослушанием. Иногда мне хотелось стать знаменитым хулиганом, — вроде Графа Панельного. А иногда хотелось стать никем, ничем, ничего не делать, ничему не учиться. Но полной расхлябанности препятствовали домашняя бедность, скудость уклада жизни. К тому же и все другие — куда ни погляди — жили очень небогато. Все мои школьные и внешкольные друзья и товарищи были сплошь — безотцовщина, матери их еле концы с концами сводили. Если ты беден среди богатых — в тебе разгорается хищная зависть, и неизвестно к чему это может тебя привести. Но если ты беден среди бедных — бедность дисциплинирует, пришпоривает тебя и твоих товарищей по бедности к общим действиям, к работе.

В один осенний день ко мне заглянул друг мой Боря Пуханов и сообщил, что нашёл работу. Завтра, в воскресенье, надо пойти нам на Одиннадцатую линию в один дом к одной старушке. Ей привезли два метра непиленных дров; их надо распилить, расколоть, снести в сарай. За это нам будет монета! И вот на следующий день я направился к Борьке, на Средний проспект. Друг мой ждал меня во дворе с топором. К нам присоединился Гошка Поморов, живший в Борькином доме; он принёс пилу. Мы втроём отправились на Одиннадцатую линию. Мне, разумеется, не раз приходилось пилить и колоть дрова в своём дворе со своим двоюродным братом на своей родной Шестой линии. Но то была работа, так сказать, для себя. А там, на Одиннадцатой линии, дело было особое: впервые в жизни мне предстояло работать вне своего дома, работать для других. И впервые — работать за деньги. Тот день мне запомнился.

Дрова старушки были свалены в самом конце мощённого булыжником двора, возле довольно большой лужи. Старушка помогла нам найти козлы. Они стояли в тупичке у какого-то каменного одноэтажного строения; кажется, то была прачечная. Мы перетащили козлы эти к дровам и приступили к работе. Старушка долго стояла возле нас вместе со своей чёрной собачкой. Видимо она (старушка) сомневалась, сумеем ли мы, такие молодые, выполнить это трудовое задание. Но мы пилили и кололи дружно, старательно, по временам сменяя друг друга. Убедившись, что дело у нас спорится, владелица дров пошла к себе домой, пёсик же остался во дворе и важно наблюдал за нами, будто по поручению своей хозяйки.

О том, сколько нам причитается, заранее со старушкой мы не договорились, и теперь Гошка высказал предположение, что получим мы немного, ибо «собачка-то богатая, а бабушка-то — бедная». Действительно, собачонка была раскормленная, толстая, старушка же сухонькая — и одетая бедновато даже по тем скудным временам. Сбылось ли Гошино предположение — не помню. Не помню, сколько мы заработали; не помню даже, на что я употребил свой первый заработок. Но хорошо запомнил, как мы носили колотые поленья в подвал, как укладывали их в штабель. Во дворе уже смеркалось, да и мало света пропускало узенькое подвальное окошечко, и поэтому хозяйка пошла к дворнику и принесла лампу «летучая мышь», очень яркую. На подвальной стене стала видна загадочная размашистая надпись: «Дунягинъ не гарантировал!» Коричневая масляная краска от старости, от сырости местами отпала, отшелушилась. Кто-то давно, ещё при старом режиме, написал это. Но кто, зачем?

Когда мы завершили свой труд, старушка позвала нас к себе домой, по широкому коммунальному коридору привела нас в свою комнату — и расплатилась. Потом предложила выпить кофе. Мы, ясное дело, не отказались. Она поспешила в кухню, собачка увязалась за ней. Меня удивило, как-то странно обрадовало, что эта дряхлая женщина оставила нас в своей комнате, веря, что мы ничего оттуда не сопрём. Ведь она до этого дня никого из нас знать не знала; это дворник дома, где жил Борис, сообщил моему другу её адрес.

Отведав овсяного кофе с белыми сухарями, мы распрощались со старушкой, пошли по своим делам и домам. Спасибо тебе, моя первая работодательница! Если есть рай — ты в раю! А в живых тебя, конечно, нет. Ведь с того дня много-много лет миновало. Быть может, ты дожила до войны, — но впереди и тебя, и нас ждало то, чего мы не ждали, — блокада...

X X X

Очень хотелось нам снова подзаработать на дровах, но как найти желающих прибегнуть к нашим услугам? И тут нам помог Колька, Гошкин двоюродный брат и одногодок. Он жил на Садовой (которая тогда называлась улицей Третьего июля), но часто бывал у своего кузена на Васильевском острове. Колька этот был удивительно деловой парень. Не деляга, не ловчило, — а именно деловой, расторопный. Он стал выискивать для нас клиентуру. Возможно, в этом ему помогал его отец, работавший официантом в пивной, которая находилась в Таировом переулке, возле Сенной площади. Теперь мы каждый выходной, а иногда и по будням, после школы, отправлялись на заработки в центр города. Ходили обычно втроём: Борька, Гошка и я. Иногда Гошку заменял Колька; в таких случаях его добросовестность простиралась до того, что он отказывался от своей доли денег в пользу кузена.

При всей своей неподкупной деловитости, Колька был остёр на язык и, как тогда говорилось, любил побузить. Он был слеп на один глаз, вместо настоящего ему давно вставили стеклянный. Но если я изо всех сил скрывал почти полную незрячесть моего левого глаза, то Колька относился к своему одноглазью шутейно. Однажды идём мы по Среднему проспекту, а навстречу — две симпатичные девочки. Колька сделал идиотски-испуганное лицо, поднёс к лицу ладонь — и выронил на неё свою стекляшку. Девочки взвизгнули, — не то от испуга, не то от изумления, а Колька ловко вставил искусственный глаз обратно и залихватски запел:

Я сидела на буфете,
Вышивала платок Пете
Петухами, курьями,
Разными фигурьями.

А как-то раз Колька заявил, что из нас теперь образовалась пильная непыльная артель и что мы теперь не кто-нибудь, а пиляне-топоряне.

X X X

Нанимали нас охотно, так как за работу платить нам можно было меньше, нежели взрослым. Чаще всего услугами нашими пользовались одинокие пожилые люди, а если семейные, то такие, в семьях которых не было молодых, здоровых, могущих пилить, колоть, носить дрова. После работы нас иногда приглашали перекусить чем Бог послал. И хоть платили нам меньше, чем профессионалам, но никто ни разу не попытался обмануть нас, обидеть при расчёте. Мы повидали много квартир, много людей, — и у меня от тех дней осталось прочное впечатление, что на плохих, недобрых людей мы не нарвались ни разу. Встречались странные, загадочные, убогие, — а вот плохих не попадалось.

Однажды мы пилили и кололи дрова во дворе одного дома, кажется, на набережной Мойки. Часть дров мы, по желанию хозяйки, перетащили в её квартиру. Квартира та была не коммунальная, а какая-то странная, необычная (может быть, делёная?). Она состояла из большущей кухни, уборной и небольшой комнаты с высоким сводчатым потолком. Плита в кухне была огромная; её, ясное дело, хозяйка не топила, а использовала как кухонный стол. Стояла на ней керосинка, кухонная посуда, — и, неведомо зачем, какое-то архитектурное сооружение из лакированного дерева, вроде бы макет китайской пагоды. А в углу комнаты высилась роскошная печь. С её лиловатых кафельных плит смотрели какие-то лица, какие-то маски трагические, — одним словом, что-то в древнегреческом духе. В комнате было темновато, единственная лампочка в большой люстре давала мало света, — она была «угольная». Напомню, что электролампы делились тогда на «угольные» и «экономические». Угольные светили плохо, но зато энергии брали немного; их обычно ввинчивали в уборных, в коммунальных прихожих и коридорах. И то, что комната освещалась не «экономической» лампочкой, именно и свидетельствовало о стремлении хозяйки к экономии. Однако обстановка в комнате была отнюдь не бедной. В застеклённом большом шкафу плотными рядами стояли книги, а на открытой полке буфета красовалась фарфоровая посуда.

Когда мы сложили дрова возле красивой печки, хозяйка — женщина пожилая, но не дряхлая, — позвала нас к столу. Она сказала, что заварит для нас настоящий золотой чай, — такого теперь нигде не купите. Подойдя к буфету, она долго выбирала чашки для нас и выбрала очень красивые, тонкие, с позолотой;

они были украшены изображениями листьев и (кажется) бабочек. Чашки эти, видно, долго стояли без дела, — так что хозяйке пришлось их долго мыть под кухонным краном. Наверно, жила она очень одиноко, если для нашего чаепития, для трёх подростков, не пожалела лучшей своей посуды.

«Золотой чай» оказался невкусным, от него плесенью попахивало; мы больше налегали на свежую французскую булку. Во время чаепития мы обратили внимание на большой фотографический портрет человека, одетого не то как священник, не то как монах. Лицо его странно не соответствовало одежде: какое-то решительное, дерзкое даже. Под портретом на миниатюрной полочке стояла вазочка с сухими васильками. Гошка спросил у хозяйки, кто этот дяденька.

— Георгий Аполлонович, — мягко, ласково ответила она. — Такой приветный был человек... Не поняли его, затравили...

Отчество незнакомца понравилось мне своей звучностью. Я спросил у этой женщины, как его фамилия.

— Гапон.

Кто такой был Гапон мы, конечно, знали. И по книгам, и со слов старших. Да и на Преображенском кладбище у могилы жертв девятого января каждому довелось побывать со школьной экскурсией. Нас удивило доброе отношение этой женщины к такому злыдню. Поразило и то, что не боится она держать его изображение в своём жилище; ведь если ГПУ пронюхает — быть ей в Соловках. И вообще — какая странная привязанность... Николая Второго некоторые проклинали, но некоторые тайком и добром поминали.

А о Гапоне я ни от кого ничего хорошего не слышал, — ни «справа», ни «слева». Мать как-то раз сказала, что это — тёмная личность. Однако, значит, есть на свете человек, для которого Гапон — светлая личность... Как странно: женщина эта, по всему видно, — честная, добрая, — и чтит такого вредного типа... Позже я убедился, что хорошие люди иногда могут, заблуждаясь, любить плохих, сами не становясь от этого хуже. А когда в тот день мы, покинув портретовладелицу, шагали по набережной, рассуждая об увиденном и услышанном, — то все трое пришли к выводу, что тётенька, конечно, добрая, но по ней Никола Чудотворец (то есть психбольница) плачет. Ведь она — чумовая... На тогдашнем жаргоне под «чумовыми» подразумевались отнюдь не больные чумой, а сумасшедшие. И в песенке какой-то пелось:

Чумовой народ фартовый, —
Без порток сидит в столовой!

X X X

Помню и нечто совсем странное.

Однажды мы пилили и кололи дрова для престарелых супругов, живших недалеко от Садовой. Работали во дворе, и там же складывали поленья в штабель. Когда работа была кончена, старичок расплатился с нами, а потом вдруг попросил нас помочь ему накрыть дрова «крышей», чтобы они от дождей не сырели. Он приволок длинный лист ржавого железа — кусок старой магазинной вывески, и мы с Борисом аккуратно накрыли штабель. При этом я, по своей неуклюжести, поранил палец на левой руке. Ранка была небольшая, но кровь текла обильно. Старикан сказал, что надо её смазать коллодием и перевязать, — тем более, что поранил я именно левую руку, ведь по ней ржа может быстро дойти до сердца.

Он повёл меня на третий этаж, в большую коммунальную квартиру, привёл в комнату, где обитал со своей женой. Она старательно смазала мой палец лекарством, потом стала делать перевязку. В этот момент в дверь постучались. Вошла девушка лет семнадцати, поставила на стол пустую кастрюльку — и удалилась. Меня удивило её лицо, — не красивое и не некрасивое, но какое-то странно-спокойное. Я невольно повернулся к двери, втайне ожидая, что она войдёт снова. Хозяйка, надо полагать, заметила мою заинтересованность и сказала, что эта девушка — Тася — недавно очень выручила одного мальчишку из соседней квартиры. У матери его пропала серебряная брошка, так мать на сына подумала, что он её спёр, чтобы продать втихомолку и пьексы к лыжам купить. Тогда соседи ей посоветовали Тасю позвать. Тася пришла, стала по комнате ходить взад-вперёд, туда-сюда, — и нашла брошку. Она под плинтусом валялась. Плинтус старый, кое-где он от пола отщепился, — и вот в незаметном месте лежала та самая брошка. Мать очень рада была, что сынок её — не мазурик. А Тасю эту все в доме знают. Если что-нибудь куда-нибудь запропастится, она всегда найдёт и ни копейки за это не попросит. Честная-пречестная. Она сперва была — как все, а потом у неё что-то вроде менингита случилось, в больнице долго лежала, а вышла, выздоровела — и вот такие способности обнаружились А так — вполне нормальная. В техникуме учится и отметки неплохие.

Всё это показалось мне невероятным, но на лгунов те престарелые супруги не походили. Другое дело, что они сами могли поддаться обману. Но и Тася та на мошенницу никак не походила. Однако когда я спустился во двор, где меня поджидали

друзья, и рассказал им то, что только что услышал, они в один голос заявили, что я на брехню клюнул.

Дома я об этом случае умолчал, ибо был уверен, что мне никто не поверит. Но когда, много позже, поведал об этом матери, она, к моему удивлению, удивилась не очень. Она сказала, что когда, за несколько лет до революции, была в Висбадене на водах, там много говорили об одном курортном служителе, который тоже обладал способностью в самых неожиданных местах находить предметы, утерянные их владельцами. Только, в противоположность бескорыстной Тасе, за возвращение находок он брал деньги.

X X X

На что я тратил свои «дровяные» заработки? Главным образом — на еду. И на вкусную (мороженое, печенье) и на будничную, обыденную (крупа, макароны), то есть на приварок к столу. Мать была этим довольна — и недовольна. Она побаивалась, как бы я на веки вечные не прирос к дворницкой работе.

Помню и две свои непищевые покупки. Во-первых, я купил себе финский нож. Как ни странно, это хулиганское оружие продавалось тогда вполне открыто. Я приобрёл свою «финку» в хозяйственном магазине на Малом проспекте; там же продавались ножи хозяйственные, примусы, кухонная посуда и керосин.

Финка моя покоилась в ножнах, украшенных на конце свинцовым шариком. Носил я её на брючном ремне, под курточкой. В школу, разумеется, ходил без оружия. Но по вечерам, когда мы втроём — Борька, Гошка и я — шли шлифовать асфальт на бульвар Большого проспекта (который тогда именовался проспектом Пролетарской Победы), каждый из нас был при ноже. Вряд ли мы, даже если бы и в драку ввязались, пустили бы в ход это оружие. Однако — носили. Такая уж тогда была тайная молодёжная мода — походить на хулиганов.

А вот хулиганские фуражки — «мичманки» с длинными козырьками были нам не по карману. Их производила какая-то полусекретная кустарная артель, стоили они бешеных денег; покупали их богатые представители гаванской шпаны. Между прочим, носить эти фуражки было опасно: шёл слух, что чуть мильтоны завидят человека в такой «мичманке» — сразу волокут его в милицию.

У многих у нас было тогда какое-то двойственное восприятие действительности. Мы распевали хулиганские песни, смаковали всякие блатные словечки, но отнюдь не считали всю эту полууголовную романтику вечной, незыблемой. Будущее, при том очень близкое, почти зримое, чудилось нам совсем иным, — без всякой уголовщины, поножовщины и матерщины. Скоро все будут жить в просторных, светлых коммунальных квартирах. Это будут не коммуналки, а коммуны в прямом смысле этого слова. Там все люди — друзья друг другу. Двери комнат выходят в широкий коридор. В конце его — большая кухня. Примусы, керосинки — всё общее, никаких склок и ссор из-за них нет. Рядом с кухней — общая столовая; в ней коллективно завтракают, ужинают, — это по будням. А в выходные дни все питаются на ближайшей

фабрике-кухне, чтобы не загружать себя излишним кухонным трудом. В квартирах, в магазинах, на складах — никаких замков, никаких запоров, ибо воров нет. Задвижки — только в сортирах и ванных, на внутренней стороне дверей. Одеваются все хорошо, но унифицированно; на каждый год, с общего согласия, устанавливается для каждого пола единый покрой одежды. Поэтому — ни у кого ни к кому нет зависти. Что касается всяких там брошек, колец, браслетов, то никто их больше не считает нужным таскать на себе, — миновала пора дикарства. А зарплата для всех одинаковая, — будь ты директор или дворник. И никаких кассиров. Раз в две недели, после окончания трудового дня, вы идёте в комнату-кассу, и там из несгораемого шкафа сами отсчитываете себе пятьсот рублей.

X X X

Памятна мне и другая моя покупка, осуществлённая пока что не на деньги, взятые из комнаты-кассы, а опять-таки на те, что на дровишках заработал. В книжном магазине на Седьмой линии купил я книжечку стихов Михаила Герасимова. Выбрал её наугад, не зная, что это за поэт. Но он не подвёл меня. До сих пор помню строку из его «Стихов о железе»:

В железе есть стоны, кандальные звоны
И плач гильотинных ножей;
Шрапнельные пули жужжанье хлестнули
За грани земных рубежей...

Книга эта хранилась у меня долго. Но когда я вернулся с войны, её уже не было, погибла в блокаду. А другого экземпляра — не купить, не сыскать. Поэт давно умер, стихи его только в старых антологиях можно найти, книги его не переиздаются. Закон выпадения, закон забвения. Это многих пишущих ждёт, и меня — тоже. Теперь, под старость, я смотрю на это проще, спокойнее. И вспоминаю гордые, утешительно-мудрые слова Валерия Брюсова: «Я был! Я есмь! Мне вечности не надо!»

К Брюсову отношение у меня особое. Я знаю, что на российском Парнасе он занимает не самое высокое место, но я очень, очень благодарен ему за его стихи, всегда думаю о нём с чувством глубочайшего почтения. Когда я впервые приник к его творчеству, уже и пушкинского «Медного всадника», и многие стихи Лермонтова знал наизусть, и Тютчевым восхищался, — и вообще уже не был незнайкой в поэзии. Но при всём при этом я был ещё только её читателем-почитателем. Правда, стишки я уже строчил, подражал то одному, то другому поэту, — но всё это походя, без внутреннего душевного задания. А вот когда мне открылись стихи Валерия Брюсова, то чем больше я вчитывался в них, тем больше мне хотелось самому стать автором. Видно, в брюсовских стихах таилась для меня некая путеводная мудрость. Быть может, некоторый рационализм его стихов внушил мне подсознательную уверенность, что и я могу быть не только читателем? Мне кажется ныне, сквозь глубь прожитых лет, что именно Брюсов был первым моим поводырём в поэзии, что это благодаря ему я вышел на свою скромную литературную тропку. С тех пор многое я переосмыслил, на многое стал глядеть по-иному, — но не гаснет моё чувство благодарности. И до сих пор

бывают у меня «Брюсовские дни». Нахлынут вдруг на душу его стихи — и я наизусть твержу их с утра до вечера...

X X X

Но вернусь к дровам, а точнее сказать — к тому, что имело к ним некоторое отношение. Пилить дрова — это мы умели, но точить пилу — дело непростое, тут нужна рука мастер. К тому же наша была плохая, насквозь проржавевшая. И вот всёведающий Колька свёл нас с Петром Васильевичем Тимофеевым. Это был инвалид, потерявший правую ногу на первой мировой (на германской, как тогда говорилось) войне.

Жил он в Гавани, в первом этаже, в большой коммунальной квартире. Комната его казалась очень просторной, — это из-за того, что мебели в ней совсем немного: стол, заваленный всякими инструментами и железными изделиями, стул, какой-то удивительно узенький шкафчик, да ещё раскладная металлическая кровать, используемая гостями как диван. Раскладушкой этой Пётр Васильевич гордился, он говорил, что это — офицерская походная койка; ему очень повезло: бывший рядовой, а спит по-офицерски. И всей обстановкой он был доволен, ведь он купил это на деньги, заработанные своим трудом. Он рассказал, что когда въехал в эту комнату, в ней «ни одной меблины не стояло». А теперь есть всё, что человеку надо!

Пенсию Пётр Васильевич получал не ахти какую и помогал себе побочным заработком: чинил замки, мастерил зажигалки, точил («наводил») пилы. Научился всему этому он уже будучи инвалидом. За работу брал он очень недорого, а с нас, подростков, прямо какие-то гроши, даже для нашего скудного бюджета малоощутимые. Нам нравилось у него бывать, мы иногда без всякого дела к нему таскались, — и он не гнал нас, встречал приветливо. Разговаривал он с нами всегда серьёзно, будто со взрослыми. И это не потому, что хотел подладиться к нам, — нет, он ко всем людям относился уважительно. У него было какое-то удивительно ласковое, праздничное отношение к жизни. Он считал себя счастливым — ему повезло на войне! Сколько там полегло, а у него война только ногу отобрала, голова-то цела! И обе руки — в полном порядке! И, наверно, именно потому, что он был уверен в том, что он счастлив, ему хотелось, чтобы все на свете были счастливы. Жильцы квартиры души в нём не чаяли, это ощущалось по их дружескому отношению ко всем, кто посещал Петра Васильевича. Как-то раз одна из его соседок задержала нас с Борисом в коридоре и рассказала, что Пётр Васильевич одному хворому старичку из соседней квартиры деньги задарма даёт, а её сыну вчера на покупку ранца пятёрку отвалил. А ведь сам-то — никакой не миллионер, сам-то на масле

экономит...

Я помню его лицо, его добродушно-лукавую улыбку. Я вспоминаю его с умилением. Мы весьма легко даём крайне отрицательные, беспощадные оценки плохим людям. Сказать о нехорошем человеке, что он дерьмо, подонок, сволочь, негодяй — нам совсем не трудно. А вот оценки хорошим людям мы порой занижаем, — из-за какой-то душевной робости, подспудной перестраховки. Но о Петре Васильевиче я осмелюсь отозваться так: то был святой человек. Святой без всякого намерения прослыть таковым, святой сам по себе. И без всякой религиозной подоплёки, ибо в Бога он давно уже не верил, он расстался с ним на войне.

Зато его друг Чашечка (кажется, это было не прозвище, а фамилия), тоже вернувшийся с войны одноногим калекой, в Бога верил. Чашечка этот жил в соседнем доме и постоянно торчал у Петра Васильевича. Они не были однополчанами, а сдружились уже в петроградском госпитале, — и сдружились прочно. Но вечно пикировались. В церковь Чашечка не ходил, но считал, что поскольку на свете существует всё то, что существует, должен же кто-то всем этим командовать. Однажды он спросил меня, верю ли я в Бога. В ту свою отроческую пору я ни во что святое не верил и потому ответил, что никакого Бога нет.

— Ты дурак, значит, — резюмировал Чашечка. — Мне Он помог с войны живым вернуться.

— Помог-то помог, а одну ногу из твоей задницы выдернул, — вмешался в спор Пётр Васильевич. — Ну и молись в пустой угол!.. Сам подумай: если б был фактический Бог, Бог-отец, как ему по Библии положено, то не допустил бы он, чтоб его дети — ну, русские, немцы, французы, — друг друга в войнах кромсали. Что ж это за папаша такой, который сыновьям своим позволяет гробить друг друга?!

— Войну эту цари и фабриканты затеяли, Бог тут не виноват, — гнул своё Чашечка. — Да и не будет больше таких войн, люди ума набрались.

— Кто набрался, а кто и не набрался. Нет, теперь вся надежда на всемирную революцию. Будет она — тогда всем войнам каюк, — подытожил Пётр Васильевич. И в знак того, что спор окончен, принялся с особым тщанием водить напильником по зубцам пилы, напевая при этом инвалидную песню. Я помню два куплета из неё:

Брала русская бригада
Галицийские поля,
И достались мне в награду

Два солдатских костыля.
Нас ушло с деревни трое,
Трое лучших на селе, —
И остались в Перемышле
Двое гнить в сырой земле...

Песен таких Пётр Васильевич знал множество. Однажды он признался, что до того, как слесарное дело освоил, он ими с год кормился, — пел на рынке. Только выгода с этого невелика: больно много конкурентов было.

Я в свои детские годы немало инвалидных песен слыхал. Первая мировая война породила их, пожалуй, даже больше, чем Великая Отечественная, и жили в народе они долго, примерно, до второй половины тридцатых годов. Потом были забыты. А я, глупец, не запомнил их. Моя молодая память жадно вбирала в себя всякие блатные песни типа «Гоп со смыком», чувствительные романсы, слова к фокстротам, танго и румбам. Потом пришла пора восхищенья Леонидом Утёсовым, Оскаром Строком, Вадимом Козиным, затем — с большим опозданием — Вертинским. Его грустные песенки и поныне берут меня за сердце. А ведь он — не моего времени, не нашего поколения певец. Он пришёл из дореволюционных лет. И живёт, поёт! Не только для меня — для многих. Вот это — талант!

...Очень нравилось мне бывать у Петра Васильевича. Когда я стал учеником ФЗУ и дров на стороне уже не пилил, я ещё какое-то время навещал этого милого человека. Я читал ему свои стихи, а он слушал их с полным равнодушием, но меня это почему-то нисколько не обижало. Он, кажется, и книг не читал, только газеты. Но таилась в нём какая-то радующая душу мудрость. Всё, о чём бы он речь ни повёл, обретало некую светлую новизну. Помню, при последней нашей встрече зашла почему-то речь о цыганах.

— Как подумаешь, что цыгане на свете есть — сразу на душе легче, — высказался Пётр Васильевич. — Мне на одной ноге никуда далеко с места не ушагать, а как вспомню про этот бродячий народ — у меня будто вторая нога вырастает. Нет, цыгане эти на свет не зря дадены!

Потом как-то так жизнь моя шла, что долго я в Гавани не был. И вот однажды решил проведать Петра Васильевича. У самых дверей встретилась мне пожилая толстуха, соседка его по коммуналке. Она не раз открывала нам — Борису и мне — двери, и теперь сразу меня узнала. Эта женщина сказала мне, что Пётр Васильевич два месяца тому назад «чужой смертью помер».

Вышел он седьмого сентября вечером подышать свежим воздухом, стоит на панели около своего окна, а тут его одни пьянчуга железякой по голове двинул. Тот пьянчуга в соседнем доме жил, он дворника нашего ненавидел, и в темноте спьяна не разглядел, что перед ним никакой не дворник, а человек на костылях. Потом, на суде, он слезами разливался, он ведь Петра Васильевича знал и уважал, — а тут такое дело получалось... Мы Петра Васильевича всем домом на Смоленском кладбище хоронили. Хотели и панихиду в церкви справить, да нельзя: ведь он в Бога не верил. А по-моему, паренёк, такой вот неверующий ближе к Богу, чем всякие там кое-как в него верующие. А ты как думаешь?

Я промямлил в ответ что-то невнятное. Не таким уж я был нервным, не таким уж сентиментальным, но эта смерть прямо-таки ошеломила меня своей несправедливостью. Я шагал домой, будто бревном ушибленный, и всё думал: зачем Судьбе понадобилась эта смерть? Ведь немало плохих людей есть на свете — и ничего им не делается, живут-поживают, и никто на их жизнь не покушается... А теперь, на склоне лет, иные мысли порой у меня возникают: что, если доброго Петра Васильевича, по закону старости, ожидала долгая и мучительная болезнь, одинокая беспомощность с неизбежным смертельныи исходом, — а тут он умер мгновенно, безболезненно; что, если Бог, в которого он не верил, не наказал его, а пожалел?

Слепой велосипедист

219-я школа, куда меня перевели из 215-й, находилась на Пятнадцатой линии Васильевского острова, недалеко от Большого проспекта. Другие стены, другие учителя, другие ученики... И я решил стать другим — старательным, успевающим, безупречным. А чтобы стать знаменитым в школьном масштабе, я сотворил стихотворение о школьном субботнике на строительстве фабрики-кухни, и этот опус был помещён в стенгазете. Мало того, — я, не обладая музыкальным слухом, зачем-то записался в музыкальный кружок. Там меня ожидала неприятность. Когда мне вручили домру и я, сидя рядом с прочими начинающими музыкантами, под аккомпанемент руководителя кружка, попытался исполнять какой-то мотив, руководитель вдруг обнаружил, что я держу свой музыкальный инструмент, так сказать, вниз головой. Это я из какой-то лихаческой бравады, из желания прослыть виртуозом так поступил. Руководитель воспринял это, как намеренное надругательство над искусством, приказал мне выйти за дверь и никогда не возвращаться.

В дальнейшем на меня в этой школе нареканий не было. Учился старательно, вёл себя пристойно. И о соучениках, и о педагогах остались у меня добрые воспоминания. Но о тогдашнем самом себе вспоминаю с каким-то неприязненным удивлением. Дивлюсь своей дурости.

Был в нашем классе ученик, фамилии его не помню, но имя знаю: Кирилл, Кирка. То был парень спортивного типа, учитель физкультуры всем его в пример ставил; впрочем, и по остальным предметам Кирка тот отнюдь не был отстающим. И вот однажды я узнал, что он записался на краткосрочные курсы при РОНО, где готовили инструкторов по физкультуре для малолетних детей, для летних детских площадок. И то ли я позавидовал ему, то ли вообразил, что на этом поприще ждут меня успех и слава, — только вдруг обратился к нашему преподавателю физкультуры с просьбой дать мне направление на эти курсы. Тот удивился и сказал, что нужны мне такие курсы, как слепому велосипед. Однако направление дал. Потом пришлось заполнить анкету, но в неё, кажется, даже не заглянули. Хотя по возрасту я, как и Кирка, до курсов тех чуть-чуть не дотягивал, но меня тоже приняли. Видать, недобор был, брали всех, кого попало.

На курсовые занятия я сходил два или три раза, потом бросил, надоело. Но получилось почему-то так, что после окончания учебного года, в начале лета мне дали справку об окончании курсов и направление на детскую площадку, которая

находилась на Шестнадцатой линии. Эта физкультурная эпопея описана у меня в повести «Счастливый неудачник», но там речь идёт не обо мне, а о герое этой повести. Там всё веселее выглядит. А мне было несладко.

Сквозь стыд припоминаю первое занятие. На небольшой площадочке в небольшом садике ребята были уже в сборе. То были ученики-первоклассники; родители по разным причинам не могли их вывезти за город, на дачи, а потому зачислили сюда. Воспитательница, деловая женщина средних лет, представила меня этим ребятам, потом отошла в сторонку, ожидая моих действий.

— Стройтесь! — повелительно скомандовал я и сразу увидел, что единого строя не получается: площадочка-то была очень невелика, а детей, кажется, больше тридцати. Тогда я распорядился, чтобы строились в две колонны, мальчики отдельно от девочек. И вот возникло два неровных ряда. Я стал размышлять, что же мне дальше с ними делать? Одновременно возникла мысль, что я, кажется, поступаю антипедагогично, разъединяя детей по половому признаку. Я увяз в этих раздумьях, а тем временем в обоих рядах дети загадочно переглядывались, перемигивались, хихикали. В мальчишеском ряду кто-то нахально мяукнул.

— Раз-два, раз-два, раз-два, — начал командовать я, одновременно делая приседания и плавно разводя руками. Дети повторяли мои телодвижения, дело пошло на лад, — никакого хихиканья и мяуканья. Так продолжалось минут десять, а то и больше, часов ведь у меня не было. Надо было что-то новое предпринять, — и дети, и я уже устали. Но что делать дальше, — этого я не знал.

Выручила воспитательница. Она подошла ко мне и сказала, что теперь я могу вести своих подопечных на прогулку. Я велел им построиться в пары и повёл на Малый проспект, потом по Пятой линии на Средний, потом по Соловьёвскому переулку — на Большой, — и привёл их в Румянцевский сад. Здесь опять возникла роковая проблема: что мне с этими детьми делать? Пришлось опять приступать к приседаниям и рукомаханиям. После этого я повёл их обратно, на Шестнадцатую линию. Гулять с ними по саду я не решился: вдруг они нарушат строй, разбегутся по аллеям кто куда, а как я потом их соберу?! Ведь я и имён их ещё не знаю, и лиц их ещё не запомнил...

В доме возле детской площадки была столовая, две спальни — для девочек и мальчиков — и ещё три комнаты. После обеда воспитательница пригласила меня для беседы в одну из комнат. Там за письменным столом сидела худенькая дама —

заведующая. Они стали меня расспрашивать, как мне понравилась прогулка с детьми, хорошо ли вели себя дети. Я отвечал в самом положительном смысле: прогулка прошла отлично, дети хорошие, дисциплинированные, я всем доволен. Но из дальнейших вопросов этих двух женщин я уловил, что мной-то не очень довольны, что кто-то из детей успел нажаловаться им на меня. А в конце этой беседы заведующая ласково спросила меня, не кажется ли мне трудной моя работа. Я бодро соврал, что работа — совсем не трудная, я её уже вполне освоил.

Следующие два дня были дождливы, и это избавило меня и мою паству от прогулок. Все сидели в зальце-столовой. Там было пианино, и воспитательница играла на нём, а дети пели. А я время от времени командовал им своё «раз-два, раз-два», — и все, следуя моему примеру, приседали и ритмично размахивали руками. А потом выдался солнечный денёк, и я с утра организовал на площадке игру в футбол, использовав для этого красно-зелёный детский мячик (настоящего футбольного мяча не имелось). Все ребята в одной школе учились, всё знали друг друга, — и потому сами, без моих указаний, распределились на две команды. Что касается ворот, то их, разумеется, не имелось. Их дети начертили на площадке осколком кирпича. От одного голкипера до другого было рукой подать. Этот мини-футбол увлёк мальчишек, а девочки сиротливо стояли в стороне. Для них никакой игры не мог я придумать.

Меж тем назревала опасность большой драки. Один из игроков решил, что гол в его ворота забит неправильно и дал кому-то оплеуху, а его, в свою очередь, кто-то ударил по носу. Игра прервалась, поднялся галдёж, началась толкотня. Я громким голосом скомандовал: «Замолчать! По местам!» — но меня не слушали. И тут делу помог мальчишка Витька. Без всякого крика и рукоприкладства навёл он порядок, и матч пошёл своим чередом. Этот Витька явно был лидером местных ребят, это я сразу учуял. Некоторые из детей заглазно звали его так: Полтора-Витьки; это потому, что для своих лет он был очень высокого роста, выше всех в группе. Но уважали его ребята не за рост, а за твёрдый характер, за безапелляционность суждений, за гулкий голос. Этому уважению не мешало даже то (а быть может, и помогало?), что был он изрядным выдумщиком. Я слышал, как в столовой он сообщил своим соседям по столу, что вчера ехал с отцом в трамвае рядом с дрессированной гориллой, которую вёз куда-то *укротитель* зверей. К этому Полтора-Витьки сразу же добавил, что тот укротитель купил у кондуктора на гориллу не один, а сразу три билета, поэтому ей и разрешено было ехать вместе с людьми... Да, этот Витька парень был интересный. Но

меня он крепко подвёл.

Пошла вторая неделя (а по-тогдашнему — пятидневка) моей трудовой деятельности. Погода в тот день стояла отличная, и я решил повести свою группу на остров Голодай; это теперь он весь застроен, а в те времена там было где погулять. Построив своих подопечных парами, я вывел их на Шестнадцатую линию, и мы направились в сторону речки Смоленки. Шагали мы не по мостовой, а по панели, — так безопаснее. Всё шло нормально, я чувствовал себя эдаким вождём, бывалым командиром, которому с уважительной радостью подчиняются его подчинённые. Но Шестнадцатая линия — это особая линия: она ведёт к Смоленскому кладбищу. На нём уже более полувека никого не хоронят, но в описываемое мною время оно было действующим, и по этой линии часто двигались похоронные процессии. Усопших провожали тогда без излишней спешки; неторопливо ехал везомый двумя лошадьми белый катафалк с гробом, за ним чинно шагали провожающие...

Невдалеке от Камской улицы наша группа поровнялась с такой процессией. Похороны были богатые, с музыкой. Музыканты шли первыми, сразу же за похоронной колесницей, а за ними — все остальные, человек сорок, не меньше. Музыка была грустная, но в то же время очень громкая и ритмичная. Наверно, эта ритмичность и соблазнила негодника-Витьку; схватив за руку своего напарника, он перебежал с ним с панели на мостовую — и оба зашагали в конце процессии. Я и опомниться не успел, как их примеру последовали остальные мальчишки, а потом и девочки. А мне что было делать? Я тоже примкнул к этому шествию. Дети теперь шагали без строя, а я обращался то к тому, то к этой — уговаривал отстать от провожающих, вернуться на тротуар. Громко уговаривать, кричать, заглушая криком музыку, я не смел. Я боялся внести сумятицу в похоронный обряд, оскорбить родственников покойного. Но вот кони со своим печальным грузом, а за ними и люди свернули налево, на Камскую улицу, на тот её отрезок, который упирается в ворота Православного Смоленского кладбища. В те довоенные годы это было очень оживлённое место: здесь стояли торговки с венками, с букетами, с корзинами, полными цветов, с глиняными горшочками; продавались здесь и лопаточки для ухода за могилами. А ещё запомнились мне странные цветы древесные: их изготовляли из стружек, и окрашены они были в какие-то ядовито-яркие цвета; стоили они очень дёшево.

На подходе к кладбищу музыканты, наконец, умолкли. Мои подчинённые отцепились от процессии, и я повёл их на зелёный остров Голодай (он же — остров Декабристов). Поскольку наше

шествие в кильватере похоронного мероприятия продолжалось не очень долго, то я оценил его как событие нелепое, но незначительное. Однако по каким-то тайным каналам (может быть, девочки насплетничали?) оно в тот же день стало известно заведующей, и она мягко, но внушительно объяснила мне, что я совершил педагогическую ошибку. Затем она поинтересовалась, почему это я всячески увиливаю от физкультурных занятий, а вместо этого норовлю водить детей по улицам. Я стал доказывать ей, что ходьба — это тоже физкультура, но и сам чувствовал, что слова мои звучат фальшиво. А через два дня она вызвала меня в свой кабинетик для того, чтобы сообщить о том, что у неё на примете есть один опытный инструктор-физкультурник, — и потому при всём её добром отношении ко мне она не будет опечалена, если я покину свой трудовой пост по собственному желанию. Так навеки оборвалась моя спортивно-педагогическая карьера.

X X X

Через несколько дней я получил расчёт в полном смысле этого слова, то есть мне даже зарплату выплатили за те дни, которые я на детплощадке провёл. Тут было чем гордиться: мне ещё только шестнадцать с половиной лет, — а уже зарплата! Однако на душе было муторно: зарплата-то зарплата, а ведь физкультурник из меня — никакой, неспроста меня выгнали...

С днём получения первой в мей жизни официальной зарплаты связано у меня одно странное происшествие. С деньгами в кармане шагал я по Шестнадцатой линии, и вдруг мне захотелось поесть чего-нибудь вкусного. А через улицу, на Семнадцатой линии, маячила вывеска столовой или ресторанчика, — теперь точно припомнить не могу. Я направился туда. Пересекая улицу, я увидел, что на булыжнике лежит знакомый предмет. То была небольшая медная печать с круглой деревянной ручкой. На той старинной печати был изображён фамильный герб — два дерева и ручей под ними, а пониже — надпись: «П.И. фон-Линдестрем». И деревья, и ручеёк, и все буквы были не выпуклыми, а как бы вдавленными в медную поверхность. Печать эта предназначалась для запечатывания писем сургучом или воском. Когда-то она принадлежала моему пра-прадеду по материнской линии, Петру Ивановичу (Иоанновичу) Линдестрему. Он, в отличие от прочих моих предков, избрал не военную, а медицинскую карьеру, и весьма преуспел на этом поприще. Но о нём позже расскажу.

Печать эту мать хранила почему-то в выдвижном ящичке столика, на котором стояла её швейная машина. Когда я учился в третьем классе, то от одного своего одноклассника заразился его хобби — коллекционированием этикеток от папиросных коробок. С мальчишкой тем я не дружил, нас связывало только это, очень модное тогда, увлечение. Однажды он принс мне на дом коробку от папирос «Салье» украинского производства, а я взамен дал ему другую, какую — не помню. Чтобы отделить этикетку от коробки, нам понадобились ножницы, а они лежали в том же выдвижном ящичке, где и печать. Через несколько дней мать случайно обнаружила исчезновение этой печати. Огорчила её не столько сама пропажа, сколько то, что повинен в этом был вроде бы я. Но мне-то было ясно, что виноват тут тот шкет-коллекционер. Я его потом не раз уговаривал вернуть похищенное, но он отнекивался, отпирался, отвирался. Так и не вернул...

Годы шли, клубились события. Пропажа была забыта и матерью, и мной. И вдруг — эта находка! Это было так странно,

так неожиданно, что я даже не обрадовался. Удивление было сильнее радости. Где все эти годы таилась эта печать? Через чьи руки она прошла? Почему она очутилась на булыжнике именно сегодня? Быть может, Бог узнал, что меня прогнали с работы, и решил сделать мне утешительный подарок?.. Странная компенсация... Мать, когда я вручил ей эту печать, тоже была скорее озадачена, нежели обрадована.

Биржевой день

Шло лето 1931 года. За спиной у меня было семь классов, — первая ступень школы. Надо было выбирать путь в своё будущее. И я, после недолгого раздумья, решил, что вторую ступень, то есть восьмой и девятый классы, кончать мне не нужно, что осенью я пойду учиться в фабзавуч, — стану фабзайцем, как тогда в шутку именовали учащихся ФЗУ. Когда я поведал матери об этом своём скоропалительном, но твёрдом решении, она была весьма огорчена. Чтобы утешить её, я принялся доказывать ей, что если я даже и окончу, с грехом пополам, девятилетку, то на экзамене в ВУЗ всё равно провалюсь, ведь я очень слаб в математике. Из-за математики этой окаянной меня ни в какой ВУЗ не впустят, даже в самый гуманитарный.

Конечно, дело тут было не только в математике. На моё решение повлиял целый сплав причин. Кроме арифметическо-математически-алгебраического страха, был тайный страх, что меня не примут в ВУЗ из-за моего дворянского происхождения. И при том, честно говоря, я тогда не представлял себе, кем я могу быть. Ну, предположим, благополучно окончу девятый класс, — но в какой ВУЗ держать мне экзамен? А ФЗУ — это дело ясное. Я стану рабочим, мастером. Быть рабочим, пролетарием тогда было почётно, куда почётнее чем ныне. И почёт нисходил не с бюрократических вершин, — нет! Уважением к промышленному труду была пронизана вся тогдашняя действительность. И хоть был я легкомысленным парнем, трепачом изрядным, но романтика технического труда владела в те годы и моей душой. А ещё ФЗУ меня тем прельщало, что там я сразу начну получать стипендию, — и вроде бы стану человеком самостоятельным.

Как ни странно, но из памяти моей выпали все предварительные хлопоты, связанные с поступлением в фабзавуч. Но помню, что выбор места учёбы зависел не от меня, а от Её Величества Биржи Труда, которая находилась на Кронверкском (ныне имени Максима Горького) проспекте, рядом с Сытным рынком. И никогда не забыть мне того дня (мысленно я именую его Биржевым днём), когда в первом этаже этого массивного здания, в небольшом зальце с огромным окном, подошёл я к деревянной, окрашенной в зелёный цвет перегородке. В ней было окошечко, и за ним сидела молодая женщина с родинкой над правым глазом. Она вручила мне зеленоватую бумажку — направление в Учебно-химический комбинат имени Менделеева; такое громкое наименование носил фабзавуч, где мне предстояло учиться.

Я был неприятно удивлён. Я почему-то ожидал, что меня направят туда, где учатся иметь дело с металлом, а тут какая-то химия... Но спорить было бесполезно. К тому же сразу возникла утешительная мысль: химия — наука таинственная, многообещающая. Вот окончу этот фабзавуч, пойду работать на химический завод — и вдруг, в процессе работы, нарвусь на неожиданную великую удачу: открою формулу универсального антигаза. При помощи этого могучего химиката можно будет обезвреживать все ядовитые газы, даже иприт и люизит. Вот где, быть может, ждёт меня всемирная слава!.. Напомню читателям, что в том году ещё никто не знал, будет ли война, и если будет, то с кем. Но многие были уверены, что ежели она когда-нибудь начнётся, то неприятель обязательно пустит в ход отравляющие вещества. На уроках военного дела нас старательно учили пользоваться противогазами, и даже маршировать в них. А все взрослые в обязательном порядке осваивали эту науку на производстве, в учреждениях, в вузах, и тренировке уделялось так много внимания, что возникла ехидная поговорка: «Не страшен газ, а страшен противогаз».

Из двери Биржи Труда я вышел другим человеком. Вошёл туда Вадькой-Косым, вошёл, можно сказать, никем, — а вышел оттуда Будущим Химиком!.. Впрочем, это я сейчас так пишу о себе тогдашнем, а тогда я ощущал какой-то подъём духа, словами невыразимый. Однако в этот праздник души вторглось будничное опасение: ведь и в ФЗУ надо держать экзамен, а в математике я слабак. А вдруг — завалю?.. Нет, выдержу! Выдержу! Выдержу! — заверил я себя. И на самом деле, когда настал день этого экзамена, я все предметы сдал успешно. Но должен признаться, — очень несложным было это испытание; у меня осталось впечатление, что экзаменовали нас только для проформы. Потом ребята говорили, что в том году был большой недобор, принимали всех. И медосмотр прошёл для меня вполне благополучно, — а я-то опасался, что на мой слабый левый глаз обратят внимание.

Тот Биржевой день впечатался в мою память не только главным для меня событием, но и многими второстепенными впечатлениями. Помню, как с несвойственной мне аккуратностью сложил я врученную мне бумажку, положил её в карман, а затем чинной походкой вышел из Биржи и зачем-то направился в сторону Госнардома. Из тамошнего сада, с американских гор, доносился негромкий скрип вагончиков, а порой — людские взвизги. Многие девушки, на самом деле вовсе не нервные и не трусливые, считали своим долгом повизжать, когда вагончик мчится под уклон, — иначе и катание не в радость.

Сад Госнардома был тогда очень у питерцев популярен, — недаром у Заболоцкого сказано: «Народный дом, курятник радости, Амбар волшебного житья...» В саду этого курятника радости было много аттракционов, в том числе и очень почитаемые молодёжью американские горы. Сидя в открытом вагончике рядом с девушкой (даже с такой, с которой недавно познакомились), вы — в тот момент, когда вагончик круто устремляется вниз, — имели полное моральное право легонько обнять её, якобы беспокоясь за неё и оберегая от опасности. Горы эти сгорели за несколько лет до войны, но были быстро восстановлены к следующему сезону. А во время войны они снова сгорели, и на этот раз — навсегда. Помню одну осеннюю ночь 1941 года. Я с винтовкой стоял на посту у аэродромного огнесклада, а над Ленинградом всё небо было во вспышках: зенитчики отражали воздушный налёт. Вскоре стало видно большое зарево. На другой день кто-то из нашей роты сказал, что сгорели американские горы. Тогда это известие прошло как-то мимо моей души, — а теперь, на склоне лет, вспоминаю об этой потере с грустью. Сколько доброго веселья подарил когда-то питерцам этот замысловатый аттракцион! Если бы люди умели чувство радости выражать и подытоживать в точных психологически-математических единицах, то тут бы колоссальные, астрономические числа получились!

От Госнардома я направился на Большой проспект Петроградской стороны, который тогда именовался проспектом Карла Либкнехта. Там, на углу Рыбацкой улицы, я стал ждать «шестёрку», — трамваи тогда ещё ходили по Большому, рельсы ещё сняты не были. Недалеко от меня стояли двое мужчин среднего возраста, — тоже поджидали трамвая. Я невольно подслушал их разговор; оба были слегка подвыпивши, говорили громко. Сперва они толковали о какой-то Марианне Викторовне, а потом один спросил другого: «Но почему ты, Никола, на похороны Валентина Андреевича не пришёл?» Никола на это ответил так: «А зачем вообще на похороны разных там сослуживцев ходить? Ведь всякая вежливость должна быть взаимной, а тут никакой взаимности не получается. Вот ты потащился на его похороны, а он-то на твои не придёт».

Вернувшись на Васильевский остров, я, прежде чем идти домой, заглянул к своему другу Боре Цуханову. Вообще-то ему полагалось быть на даче, — в том году мать его сняла комнату в избе возле станции Пудость, но Борис отпросился у матери на пару дней в город. На даче ему было скучно. «Это не Пудость, а Подлость», — сердито утверждал он.

Борька накормил меня каким-то самодельным супом. Потом,

когда я показал ему бумажку — направление в ФЗУ, он прямодушно заявил, что считает моё решение дурацким, и добавил: «Почему бы тебе сразу в дворники не пойти? Только не поступай дворником в угловой дом, а то тебе придётся панель с двух сторон дома подметать, а ведь ты — лодырь». Я, разумеется, обиделся, нахохлился, мы поссорились. Однако как-то быстро и незаметно помирились, и тогда мой друг сказал, что у него есть две папиросины, мы сейчас пойдём на крышу, покурим там. Он совсем не боялся высоты и почему-то очень любил бывать на крыше. Мне же идти на крышу не очень-то хотелось. Я спросил Бориса, есть ли у него ключ от чердака, — с тайной надеждой, что ключа у него сейчас нет. Но он ответил, что всё в порядке, ключ висит в кухне на гвоздике. В те времена бельё после стирки, как правило, сушили на чердаках, поэтому все чердачные двери были с замками и управдомы строго следили за их исправностью, чтобы уберечь бельё жильцов от воров-чердачников.

Борис жил на первом этаже пятиэтажного дома. Через кухню мы вышли на чёрную лестницу и пошли по ней индейским шагом. Этому способу хождения мой друг выучил меня задолго до описываемого мной Биржевого дня. Шагая в гору или вверх по лестнице, надо наклонять туловище вверх, вроде бы падая, — и тогда ноги как бы сами несут тебя вперёд. Нынче мне 78 годочков стукнуло, живу я на четвёртом этаже, но лифтом не всегда пользуюсь, хожу иногда этим самым индейским шагом. И, шагая вверх, всегда вспоминаю друга моего хорошего...

X X X

Давно нет на свете Бори (Бориса Ивановича) Цуханова. Он погиб на фронте в 1941 году. А недавно, в 1991 году, умер от инфаркта мой одногодок и одноклассник Дима (Дмитрий Васильевич) Фёдоров, гидрогеолог и спортсмен. Мы подружились в школе — и если бы люди могли жить вечно, то и наша дружба была бы вечной. Из всех моих друзей нелитературных он был моим другом N 1. Это был человек очень добрый, бескорыстно-отзывчивый. Он не раз приходил мне на помощь в трудные периоды моего бытия, он умел внушить мне, что жизнь не так уж плоха, как это мне чудится. К стихам моим он относился с зорким, порой чуть-чуть насмешливым вниманием. Когда в 1940 году вышла моя первая книжка стихов, Дима Фёдоров был одним из первых, кому я её подарил, — ведь в ней есть стихотворение, посвящённое ему.

Кроме всего прочего, он был человеком весёлым, за это все в классе его любили, — и с годами весёлость в нём не заглохла. При этом он не был буйным весельчаком-хохотуном, не был насмешником — нет! В его весёлости угадывалось доброе, беззлобно-ироническое отношение ко всему, что его окружало... Однако, как трудно писать о хороших людях! И чем лучше человек — тем труднее. Вот и теперь никак не подыскать мне правдиво-точных слов к тому ясному, светлому облику моего друга, который живёт в моей памяти, и кажусь я себе словесным нищим, и стыжусь своей нищеты. И поневоле вспоминается мне строка бессмертного Тютчева: «Мысль изречённая есть ложь».

Я — фабзаец

Учебно-химический комбинат имени Менделеева находился в доме N 8 на улице Восстания. Здесь готовили рабочих высокой квалификации для химической, парфюмерной, абразивной и керамической промышленности. Меня зачислили в керамическую, а точнее — в фарфоровую группу. Спецтехнологию нам преподавал Лейхман, великий знаток своего дела. Он знал о фарфоре всё; и современную технологию, и историю его с древних китайских времён. Он был убеждён, что фарфор — самый благородный материал в мире, благороднее всех драгоценных камней и металлов. И самый вечный, самый надёжный. Если зарыть в землю золотую корону, а рядом с ней — фарфоровую чашку, то через десять тысяч лет корона под влиянием естественных факторов распадётся, изничтожится, а фарфоровая чашка сохранится, останется точно такой, какой она была в день, когда её зарыли. В фарфоре Лейхман ценил его техническую фактуру, а она очень зависит от сырьевых компонентов, то есть от качества каолина, кварца и полевого шпата. Он считал, что главные достоинства фарфора — это его прочность и белизна, и каждый фарфорист должен это понимать и помнить. Да, разрисованный фарфор прекрасен, многие талантливые художники трудятся над его росписью. Однако мы должны знать и глубинную, подспудную причину, натолкнувшую людей на роспись. На заре производства, в древности, фарфор не расписывали. Но, заготовляя фарфоровую массу для формовки и обжига изделий, фарфористы не всегда могли избавить сырьё от чужеродных примесей, — и часто случалось, что после обжига на посуде появлялись тёмные пятнышки, уродовавшие её. И вот однажды какой-то мудрый мастер догадался, как избавиться от брака. На поверхности глазурованного блюдца, испещрённого пятнышками, он нарисовал цветы, употребив для этого кобальтовую огнеупорную краску, а затем подверг блюдо вторичному обжигу. Замаскировав собой брак, синие цветы расцвели на фарфоре. Так уродство породило красоту.

Лейхман любил фарфор восторженно; он, пожалуй, толкуя о нём, кое-что присочинял от себя. Но тем интереснее было его слушать. Технические сведения о фарфоре он перемежал со своими догадками о его будущей роли в развитии цивилизации. Он внушал нам, что в производстве его возможны новые открытия и усовершенствования. Это был инженер старой школы, человек высокого технического благородства. От него же я узнал, что в здании, где мы учимся, до революции находился Павловский

женский институт; в нём когда-то жили и учились мать Крупской, писательница Лидия Чарская и ещё многие знаменитые женщины. Мы же в этом монументальном здании прозанимались один учебный год, а потом нас перевели на улицу Рылеева, дом N 9; оттуда, после второго года обучения, пошли мы работать на завод «Пролетарий».

Девчата и ребята в ФЗУ были не такие, как в школе, их отношение к учёбе было совсем не школьное. Ведь для многих посещение школы — это нечто недобровольное, насильственное, навязанное взрослыми. ФЗУ — другое дело. Сюда шли по своей воле, сюда поступали именно для того, чтобы чему-то учиться — и научиться. Здесь были ученики более способные и менее способные, но лодырей не было. Даже я учился здесь со старанием. Однако математика у меня, как водится, хромала, и преподаватель Арсеньев «прикрепил» ко мне Женьку Слепнева, чтобы он помог мне освоить эту коварную науку. И благодаря Слепню (это была его кличка) я стал чуть-чуть получше разбираться в цифири.

А Слепень этот и в математике разбирался отлично, и по всем прочим предметам шёл чуть ли не первым в группе. И всё давалось ему легко, без зубрёжки, без натуги. А жилось ему трудно. Он жил без отца, без матери где-то на Охте у дяди. Дядя был пьющий, а работал в гробовой артели, и особо много выпивал в те дни, когда кто-нибудь заказывал гроб для горбатого покойника. Такие гробы делать было сложнее, за них полагалась особая приплата, и уж эти-то добавочные деньги дядя пропивал вчистую. А в выходные дни дядя ходил по квартирам, всякие столярные работы выполнял, — и опять-таки вечером напивался. Выпивши он всегда скандалил, гвоздил племянника всякими словами за то, что тот задарма живёт на его жилплощади и вообще на его шее висит. И тётя тоже добротой не блещет; характер у неё склочный, скрипучий, — жаловался мне Слепень.

Читал Женька Слепень очень много, — и классиков, и всё что попало. Но только прозу. Ничьи на свете стихи его не интересовали, в том числе и мои. Я иногда подсовывал ему свои творения — и всё впустую. Не признавал он и драматургии. Он считал, что театр для человеческой цивилизации явление временное. Театр возник в древней Греции. А почему возник? Да только потому, что тогда почти все были неграмотными. Каждый тогдашний писатель или поэт понимал: если он напишет роман или рассказ или поэму сочинит, читать их будет почти что и некому. А если он напишет пьесу, вложит свои мысли в уста действующих лиц, то со сцены, через актёров, его мысли дойдут до широких масс. Но теперь — другое дело: ведь мы в двадцатом

веке живём! У нас в стране — сплошной ликбез, все учатся грамоте. А когда произойдёт всемирная революция, то и в самых отсталых странах неграмотность будет начисто ликвидирована. И тогда театр сам собой отомрёт, да и кино тоже. Зачем человеку пялить глаза на сцену или на экран, если в руках у него — книга?! Уже теперь в театры мало кто ходит, да и в кино люди уже не так охотно идут...

Хоть я и не театрал, но с антитеатральными домыслами Слепня согласиться не мог. И очень огорчало меня, что он стихов не читает. Но так как он не только моих стихов знать не хотел, но и вообще был чужд поэзии, то в обиде я на него не был. В остальном взгляды наши о многом сходились. Он тоже уважал животных, считал, что люди их недооценивают. И тоже был противником охоты. В особенности — любительской, когда люди убивают зверей не ради питания своего, а ради удовольствия. Тут он, пожалуй, перегибал палку. Однажды он сказал мне, что его злит описание охоты в «Войне и мире»; ему не нравится, что эти паразиты-помещики с таким азартом истребляют лисиц и зайцев. Правда, волка там Толстой по совести изобразил, волка Толстому жалко. Волк у него там страдает, бедняга. Волк в той главе, если разобраться, — главное действующее лицо. Волк там — человек, а люди — звери. Я бы их — к стенке!

— И Наташу — тоже? — спросил я.

— Нет, Наташа хорошая. И Петя хороший, он потом на войне погибнет. Их к стенке не надо. А остальных — надо! Они паразиты. Мало того, что они крестьян эксплуатируют, они ещё и животных зазря истребляют. И дядюшка этот, которого Толстой так сладенько расписывает, — тоже паразит отпетый. К стенке дядюшку!

Суждения у Слепня были сердитые, а на деле он добряком был. Помню, после летних каникул выдали нам, фабзайцам, талончики в закрытый распределитель. Тогда карточная система была; её ввели в 1930, а отменили в 1934 году. Мы со Слепнем отправились в магазин, находившийся недалеко от Витебского вокзала, и купили на те талончики по килограмму солёной селёдки. Когда мы с этим приятным грузом шагали мимо вокзала, туда, видно, только что прибыл дальний поезд. На привокзальную площадь высыпали пассажиры. Среди них было немало исхудалых женщин. Ясное дело, они приехали с Украины, там в то время голод был смертный. Две женщины подошли к нам. Сквозь южную смуглоту их лиц просвечивала голодная бледность. Та, что помоложе, держала за руку девочку лет четырёх, другая, пожилая, несла большой фанерный чемодан. Они — почему-то шёпотом — спросили, нет ли у нас хлеба. Хлеба с собой у нас не

было. Слепень вынул из своего холщового портфеля всю порцию рыбы, завёрнутую в газету, и целиком вручил её женщине с ребёнком. Последовав его примеру, я отдал свою долю пожилой женщине. И сразу же мы почему-то очень заторопились, какое-то смущение нами овладело. Шагая в сторону Невского, мы ни единым словом не обмолвились об этих женщинах, а о чём-то совсем другом говорили.

Когда я поведал матери об этом сельдяном эпизоде, она ничуть не рассердилась на меня за то, что я не принёс домой ни одной селёдочки. Она даже легонько упрекнула меня за то, что инициатива этого деяния исходила не от меня, что я совершил доброе дело лишь из подражания товарищу. Хоть жили мы весьма небогато, мать помогала двум старушкам, жившим недалеко от нашего дома. Она считала, что как бы ты ни был беден, но всегда есть кто-то беднее тебя.

X X X

Строго говоря, голода в Питере тогда не было. На карточки прожить можно было. То был не голод, а недоедание. Судьба как бы тренировала, подготавливала нас к блокаде, к Великому Голоду. Многие питерцы к тогдашним продовольственным неполадкам относились без особого уныния. Продуктовые карточки именовались в ту пору заборными книжками, и в большом ходу был такой куплет:

По ордерам, по ордерам, по ордерам, по ордерам,
По заборным книжкам, по заборным книжкам, —
Здесь и там, здесь и там, здесь и там, здесь и там. —
Галстуки, манишки, галстуки, манишки!

А вот чьё-то подражание классику на широкую аудиторию рассчитано не было, его всенародно не декламировали:

У лукоморья дуб срубили,
Златую цепь снесли в Торгсин,
Кота в котлеты превратили,
Русалку паспорта лишили,
Сослали лешего в Нарым...

Не при всяком постороннем рассказывали и такой вот анекдот:

— Вы знаете, вышел приказ: ввиду дефицита выкинуть букву «М» из алфавита.

— Но зачем?

— А затем, что с неё начинаются мясо, молоко, масло, маргарин, мука, мармелад, макароны, мануфактура, мыло.

Помню ещё один анекдот; его рассказывали только при закрытых дверях и только самым надёжным:

— Знаете, в Ленинграде строят новый музей. Там будет три огромных зала.

— А что будет в тех залах?

— В одном — Ленина декреты, в другом — Сталина портреты, а в третьем — наши скелеты.

Очень бодро и многообещающе звучала продовольственная тема с эстрады. На Васильевском острове в садике при клубе имени Яковлева (это на углу Среднего проспекта и Тринадцатой

линии) выступала бойкая пара. Он и она, приплясывая, исполняли песенки о борьбе за выполнение пятилетнего плана. Я запомнил такой куплет:

Пятилетку, нашу детку,
Создадим, создадим, —
Лососинки, осетринки
Поедим, поедим!

X X X

В те годы вползло в быт словечко «блат», появились «блатмейстеры», то есть ловкачи, которые по знакомству добывали себе всё, чего хотели. А продуктовая сумка была переименована в «авоську» — авось удастся принести в ней домой что-нибудь такое, чего по карточкам не выдают. В то же время началось отмирание некоторых слов. Ушло из устной речи слово «шамовка», — то есть «еда», и производное от него «шамать», — то есть «есть». Забылось слово «буза», а оно было очень ёмким; быть «бузотёром», «бузить» — это означало вести себя не так, как другие, шуметь, не слушаться старших, притворяться дураком, но не быть им на самом деле. Памятно мне и словечко «мурмулька». Оно было не всесоюзное, да, кажется, даже и не общеленинградское, а сугубо василеостровское. От парней васинских такое можно было услышать: «Похряли на набережную, — может, там с мурмульками познакомимся». Под этим словом подразумевались отнюдь не проститутки, не потаскушки, не шмары панельные, не курвы бульварные, а просто девушки порядочные, но не отвергающие ухажёров.

Уже шестьдесят лет миновало с той поры, о которой я здесь повествую, а устная речь не стала ни красивее, ни богаче. Газеты, радио, телевидение делают вроде бы нужное дело, повышают уровень людской осведомлённости, но они же способствуют усреднённости повседневной бытовой речи, обесцвечивают её, обезличивают. Из неё улетучиваются живые провинциализмы, она становится, если можно так выразиться, всё более антифольклорной. Поэтому меня нисколько не тревожат и не шокируют неожаргонные словечки, которыми нынче щеголяют некоторые молодые люди. Я воспринимаю это словотворчество как подсознательный протест против речевой обезлички.

X X X

Группа наша на две трети состояла из ребят, а на одну треть — из девушек, будущих работниц и лаборанток. С каким-то грустно-радостным, щемящим душу ощущением вспоминаю я этих девчат довоенной эпохи. Некоторые из них носили короткие чёлочки и мужские кепки, — такая уж мода тогда была. Одевались очень скромно — и очень аккуратно, чистенько. И всех их объединяла какая-то загадочная гордая скромность, незамутненность душевная и духовная. И все они верили в своё и всеобщее доброе будущее. А жилось им нелегко, все они были из семей небогатых; некоторые приехали в Питер из области, из деревень, и жили в общежитии.

Среди девчат нашей группы были и очень миловидные. Когда ребята замечали, что какой-нибудь парень неравнодушен к одной из них, ему давали кличку, используя первый слог её имени. Так завелись у нас Ань, Нин, Тамар, Зин — всех не помню. Мне очень нравилась одна девушка из нашей группы. Это была — с моей стороны — влюблённость безнадёжная, я это понимал, и тщательно скрывал её от всех. А Васе Бугрову, с которым я сдружился с первых дней поступления в ФЗУ, очень хотелось дать мне кличку. Васек стал выпытывать — нет ли у меня какой-нибудь знакомой, к которой я неравнодушен. Я признался, что в доме на Шестой линии, где я живу, есть Наташа. Она иногда приходит к моей двоюродной сестре, и они играют на пианино и поют. Голос у Наташи такой, что прямо за сердце берёт. Она очень хорошо исполняет романс «Вот вспыхнуло утро...»

— Ну, утро тут не при чём, — заявил Вася. — Тут одно ясно: ты в неё по уши втрескался. Значит — ты Нат Пинкертон. А короче — Нат.

Вскоре все в группе стали звать меня Натом. А ведь Вася как в воду глядел. Года не прошло и я влюбился в Наташу, стал стихи ей посвящать. Потом я и другим посвящал, но первое моё стихотворение о любви было посвящено ей, Наташе.

...Но вернусь в свой фабзавуч, к Васе Бугрову. Отец его был ломовым извозчиком, и Вася очень много знал о лошадях и любил поговорить о них. От него я и узнал, что извозчичьи кони в Ленинграде живут куда дольше, чем в Киеве. А почему? Да потому, что Киев — на холмах, улицы там — то в гору, то под гору, и коням там приходится напрягать свои силы куда больше, чем в нашем городе, который построен на ровном месте. А ещё Вася сообщил мне, что в старину, когда в пожарных частях были не автомобили, а лошади, лошадей этих немножко мясом

подкармливали; в овёс добавляли кусочки рубленой говядины. Для чего? Для силы! А сила нужна для скорости. Ведь для пожарных самое главное — прибыть на пожар как можно быстрее. Вася был убеждён в том, что самые умные животные на свете — это отнюдь не собаки, а кони. Но собакам больше свободы дано, так что они могут проявлять свой ум, а коням люди воли не дают, они их закабалили, они их эксплуатируют — и только. А вообще-то все животные умнее, чем мы думаем. Это мы их не понимаем, а они нас понимают.

Вася был парень весёлый, добрый, все в группе его любили. С чем ему не повезло — так это со зрением. Я хоть одним глазом видел, зато видел им отлично, а он был сильно близорук на оба глаза, носил очки. Из-за этого на него иногда вдруг грусть нападала, и ругал он свои глазенапы, свои очки надоедные. Как-то раз, желая его утешить, я сказал, что с очками люди до глубокой старости доживают и на житуху не жалуются, — и ты, Васек, ещё много лет проживёшь, и на красотке какой-нибудь женишься, и меня, одноглазого, переживёшь. Но не сбылось это моё пожелание-предсказание. Дружил я с Васей и после окончания фабзавуча, потом стали мы встречаться всё реже, и у него, и у меня новые друзья завелись, а после войны узнал я, что погиб Вася Бугров в блокадном Ленинграде. Тогда же узнал я, что на фронте погиб Коля Дорин, лучший ученик нашей группы. Это был удивительно добрый и остроумный парень, любимец всеобщий.

Многим ребятам из нашей группы не суждено было вернуться с фронтов, многих девчат и ребят угробила блокада. А оставшиеся в живых после войны встречались, перезванивались, переписывались. Но годы идут. Недавно умер Зиновий Сосин, соученик мой по ФЗУ. Теперь я переписываюсь-перезваниваюсь только с Аней Рейдер и Нюрой Тихонковой. Неужели только они да я от нашей группы остались? Неужели никого больше из ребят-фабзайцев уже на свете нет? Неужели я — последний?..

X X X

В ФЗУ были две керамические группы. Когда на втором году обучения началась производственная практика, одну группу прикрепили к фарфоровому заводу имени Ломоносова, а другую, нашу, к заводу «Пролетарий» (до революции — завод братьев Корниловых). Это означало, что после окончания ФЗУ мы там и работать будем. Завод Ломоносова (бывший — Императорский) известен всему миру, издавна знаменит своей художественно расписной посудой; при нём даже музей есть. А «Пролетарий» — это завод электротехнического фарфора, о нём и в Ленинграде-то не все знают. Но я был рад, что именно там буду работать. В те годы многие молодые люди, в том числе и я, считали, что всё, имеющее отношение к быту, включая сюда и посуду, — это дело мелкобуржуазное; только мещане отпетые могут всерьёз интересоваться всякими там вазами и сервизами. То ли дело электрофарфор! Он срочно нужен стране! Идёт электрификация деревень, строится могучий Днепрогэс!

Уже во время практики мы имели право выбирать будущую специальность. Я выбрал горновой цех. Почему я избрал эту огневую профессию? В ней виделось мне нечто романтическое, морское. Пусть я буду кочегаром не на корабле, а на суше, — но всё-таки кочегаром! И до сих пор благодарю судьбу за то, что она подсказала мне этот выбор, за то, что мой трудовой путь начался с горнового цеха.

Горновой цех

1933 год. Горн N 6. Мой первый рабочий день. Вечерняя смена. На мне комбинезон, брезентовые рукавицы и кочегарские очки-консервы с синими стёклами. Я напялил себе на лоб эти очки с самого начала смены, чтобы все знали и понимали, что я не кто-нибудь, а кочегар. А понадобятся мне они через два часа, когда я кончу прогрев («прокурку») топок и перейду на мазутно-паровые форсунки.

У стены — штабель метровых сосновых поленьев. Именно сосновых. Ни дуб, ни берёза, ни ольха для горна не пригодны. Здесь нужно длиннопламенное топливо, а самое длинное пламя даёт сосна. Зарядив все четыре топки поленьями, натесав ножом-тесаком щепок и тоже засунув их в топки, я наматываю на железный прут заранее припасённую тряпку, сую её в ведёрко с керосином — и поджигаю. С этим факелом обхожу топки, потом спешу в цеховую конторку и оттуда сообщаю по телефону в заводскую пожарную часть, что шестой горн зажжён.

Вернувшись к горну, как заведённый хожу вокруг него, заглядывая в топки, подкидываю в них поленья, — и всё время меня гложет тревога: вдруг какая-нибудь топка заглохнет?! Работа эта мне не в новинку, я ведь был на производственной практике. Но тогда за обжиг отвечал не я. А теперь именно я отвечаю. Вдруг осрамлюсь?

Но всё, слава Богу, идёт нормально. Через два часа я перестаю подкармливать топки дровами, звоню в котельную, заказываю давление, смотрю на манометр, вставляю в топки форсунки. В глубь топок устремляются рапиры огня. Теперь горн гудит, и будет гудеть до перехода на беспаровые форсунки... Но не хочу надоедать читателям техническими подробностями. К тому же милые моему сердцу горны уже в те времена, когда я обслуживал их, утратили своё техническое величие. Уже тогда на «Пролетарии» был построен новый заводской корпус, а в нём — длинная, монументально-мощная Тоннельная Печь. Печь непрерывного действия, чудо техники XX века! Но поработать в том корпусе мне не довелось.

...Топки гудят ровно, все четыре — одинаковыми голосами. Я уже не бегаю вокруг горна, а чинно прохаживаюсь и даже по сторонам поглядываю. Соседний горн тоже готовят к обжигу. Вход в него («забирку») заделывает кирпичом печник Асмолов по кличке — Табачный Царь. Я знаю его по производственной практике. В цеху его так прозвали потому, что когда-то, до революции, был знаменитый табачный фабрикант Асмолов.

Печник Асмолов к тому буржую никакого отношения не имеет, даже не курит, но на кличку откликается без обиды. Когда-то он работал печником-строителем где-то в Псковской области. Об этой бывшей своей работе он вспоминает с уважением, — в ней есть свои тонкости. Недаром прежде печникам всегда платили за работу вперёд, — не то, что всем остальным. Если какому-нибудь скупердяю печь кладёшь, тут можно крепко подгадить. Можно, к примеру, незаметно вмуровать в кладку бутылочку с водой или, ещё лучше, с ртутью, — и туда иголок набросать. Тогда печь каждый раз после того, как протоплена, будет время от времени издавать загадочные , неожиданные звуки, — будто домовой в дом вселился. Знает Табачный Царь и ещё одну производственную тайну: когда перед кладкой печи размешиваешь глину, в неё надо чуть-чуть помочиться; благодаря этому печь будет прочной, ибо такая глина крепче схватит кирпичи.

Кроме основной специальности у Табачного Царя есть и другая. Он — лжец. Лжец с узкой специализацией. Он любит похваляться своей мужской силой и непобедимостью. Перед ним, по его словам, ни одна женщина устоять не может. При этом он такие интимные подробности выдаёт, что закачаешься. А на вид он невзрачен, да и в годах уже; работницы «Пролетария» никакого внимания на него не обращают. Что касается кочегаров и горновщиков, то ни один из них брехне его не верит, но слушают его охотно. Да ещё подначивают, чтобы он не скупился на всё новые нецензурные откровения. Иногда слушатели прерывают его хохотом, и тогда он злится-матерится, на лицо его свирепость наплывает. А вообще-то он человек не злой и во всём, кроме своих интимных вымыслов, — честный, надёжный. И доверчивый. Ему можно любую небылицу рассказать, и он поверит. Позже я пришёл к выводу, что лжецы — люди доверчивые.

...Мой горн горит нормально, как надо. Вот и смене конец. Сменяет меня Валя Крюков. На нём — сингапурская роба. Она из очень прочной материи, на манер нынешней джинсовой. Недаром говорят: «Сингапурская роба не сносится до гроба». Работать в ней Валентин, конечно, не собирается, он вешает её в шкафчик, надевает спецовку. Сингапурская роба — это шик-модерн, это — драгоценная редкость; их моряки из дальнего плавания привозят, за эту робу Валентин кучу денег отвалил. Переодевшись, он обходит горн, заглядывает в топки — и без всякого пафоса сообщает, что горн принят и что моя смена кончилась.

XXX

Начались мои трудовые дни. Никаких срывов, работаю не хуже других. Наступает торжественный день — день моей первой получки на заводе «Пролетарий». На числа и цифры память у меня никудышная, но помню, что получка была неплохая; труд кочегаров хорошо оплачивался. Мать сказала мне, что часть этих денег я обязательно должен истратить на себя, купить что-то вещественное, чтобы мне запомнилась эта получка. Я отправился на Сытный рынок, на Петроградскую сторону. При том рынке была большая барахолка, и я с рук купил курточку из серого бумажного сукна; стоила она шестьдесят рублей — это я запомнил. Она была на «молнии», их изобрели совсем недавно, мода на них только разгоралась. Я очень рад был такой ценной покупке. Конечно, далеко ей до сингапурской робы, а всё-таки она с молнией! И я на свои денежки её приобрёл!

А с третьей или с четвёртой получки купил я себе ботинки — модные, рантовые, фасона «бульдог». И — главное — очень удобными они оказались; сидели на ногах так свободно, натурально, будто я и родился в них. Я там, в магазине, сразу и обулся в новые, а старые уложил в коробку от новых — и победной поступью вышел на Средний проспект. Хорошо быть кочегаром!

Я убеждён, что настроение человека очень зависит от обуви. Одежда — дело второстепенное. Если на ногах неудобная обувь, то и самый наимоднейший костюм не в радость тебе будет. А когда у тебя обувь удобная, ты чувствуешь себя прочно стоящим и уверенно идущим по земле, — даже если на тебе бедная, скромная одежда. Быть может, в минувшем не одна армия, при прочих равных условиях, потерпела поражение из-за того, что её солдаты носили неудобную обувь, а солдаты противника — удобную.

X X X

Вскоре я убедился, что и на кочегара бывает проруха. В тот день я опять дежурил на шестом горне, на втором его этаже. Зарядив топки дровами, я зажёг их и, как положено, побежал в цеховую конторку к телефону, чтобы позвонить в заводскую пожарную часть. Я очень торопился, так как одна из четырёх топок горела хуже других, и я боялся, что она заглохнет пока я отсутствую.

— Шестой горн горит! — гаркнул я в телефонную трубку дежурному пожарному и, бегом возвратясь к горну, стал пихать в топку сухие щепки. Вскоре послышался какой-то непонятный шум. Он шёл оттуда, где к наружной стене цеха примыкала железная пожарная лестница. И вот дверь, ведущая на площадочку этой лестницы, распахнулась — и появился пожарник, а за ним и второй.

— Где горит?! — крикнули они в один голос.

— Нигде, — ответил я. — Топки горят, а больше ничего.

Оба уставились на меня, как на ненормального. Потом стали мне пояснять, что сказать «горн зажжён» — это одно дело, а сказать «горн горит» — дело совсем иное. Конечно, сам по себе горн — кирпичный, но рядом с ним на третьем этаже, где топок нет, — деревянные стеллажи для сушки изделий, да и в нижних этажах хватает горючего материала. В прошлом году был случай...

Я понял, что влип в дурацкую историю. А чуть позже выяснилось, что дежурному пожарному, которому я сообщил, что «горн горит», голос мой показался очень взволнованным, и он сразу же вызвал на подмогу заводским пожарным городскую пожарную часть. Вскоре пожарные машины подкатили к воротам «Пролетария»...

После этого происшествия старший инженер-теплотехник сделал мне строгий (но устный) выговор. Он сказал, что с меня надо бы взять здоровенный штраф с вычетом из зарплаты, — ведь именно из-за меня произошла вся эта катавасия. Но так как мой трудовой стаж ещё очень мал, то на первый раз мне это прощается.

Да, в тот день жизнь преподала мне обидный, но полезный урок словесности. Он был полезен мне и как кочегару, и как будущему литератору. Я понял, что от одного слова порой зависит очень многое. Случай этот, разумеется, стал известен всему заводу, а уж о нашем цехе и говорить нечего. На следующий день я дежурил у дровяного горна. Его всегда

обслуживали два кочегара, и едва я принял смену, как мой напарник, старый кочегар Васильич, скомандовал: «А ну, Поджигатель войны, подбросим-ка по десять полешек!» Другие кочегары тоже с неделю надо мной подшучивали. Подшучивали добродушно, без желания обидеть; им хотелось, чтобы и мне смешно было.

X X X

В цеху работали очень разные люди. Среди них были и не русские: два татарина Енокаев и Ишмаев, эстонец Сепп, еврей Липович, добродушнейший питерский немец Буш, который почти к каждой фразе, к месту и не к месту, добавлял: «Чёртова кукла!» И по возрасту людской состав был неоднороден, и по характерам, и по взглядам на жизнь. Разные, разные, несхожие люди... Были верующие и атеисты; были правдивые, были и любители поврать в своё удовольствие, вроде Табачного Царя. Но было и нечто такое, что всех их объединяло, роднило. Это — производственная порядочность, неподкупно честное отношение к своему труду и благожелательное внимание к труду своих товарищей по цеху. У горнов царила дружественная дисциплина. Она шла не сверху, она зародилась здесь, на заводе.

Однажды я оказался нарушителем этой дисциплины. В цеху в ходу были развесёлые разговорчики о выпивке, некоторые хвалились своей способностью к обильному потреблению всяких спирто-водочных изделий, но на работу все являлись абсолютно трезвыми. А я как-то раз, вместе со своим старым другом Лёвой Мюллером, выпил вина и поспешил на завод; мне надо было поспеть к ночной смене. Я был трезв, пили мы в тот вечер очень дешёвое и очень слабенькое винцо по названию «Барзак» (говоря о нём, мы, разумеется, букву «з» заменялои буквой «д»). Но спиртным от меня всё-таки попахивало. Кочегар Мохов, которого я сменил, сказал: «А ведь ты — выпивши!» При этом он посмотрел на меня с таким изумлением, будто я — это не я, а какой-то не то орангутанг, не то выходец с того света. Мне стало очень стыдно. Уж лучше бы обругал меня последними словами...

А Мохов этот, человек пожилой, немало пьяных повидал на своём веку. Однажды он рассказал, что до того, как стать кочегаром, он в дореволюционное время работал кухонным мужиком в каком-то загородным ресторане. То был ресторан роскошный, для самых богатых. В большущем зале со стеклянным потолком в больших кадках стояли деревья, — а среди этой растительности были разбросаны отдельные кабинетики, в виде шалашей, но очень прочные, надёжные. В каждом стоял стол и диван, а дверь запиралась изнутри. Гость проходил туда обязательно с женщиной. Некоторые из мужчин втихаря договаривались с официантом насчёт настойки из шнапских мушек. Стоит незаметно подлить даме или девице в бокал с вином немножечко этого волшебного зелья — и она сама захочет того, чего хочет от неё партнёр, сама кинется в объятья.

X X X

При заводе издавалась газета-многотиражка. Я туда снёс своё стихотворение. Речь в нём шла о горновом цехе, о труде кочегаров, — и редактор Токсубаев (к стыду своему, имени и отчества не помню) одобрил его. Через неделю оно было опубликовано. Когда я увидел номер газеты с этим моим опусом, меня охватило ощущение необычности, странности того, что произошло. Только подумать: вот — я, вот — газета, но ведь эта газета — не просто газета. В ней — я! Меня напечатали!

Получив в редакции два экземпляра многотиражки, я пошёл в цех, где принял вечернюю смену от пожилого кочегара Шерепина. Он стал моим первым читателем и критиком. Прочёл он моё творение внимательно, неторопливо и сказал: «Всё вроде бы правильно. Но кричать-то зачем? Ты ненормальный что ли?»

Дело в том, что в стихотворении среди прочих четверостиший было и такое:

В топках нагреты все кирпичи,
От горна жарою пышет,
Форсунки гудят. Кричи — не кричи, —
Тебя никто не услышит!

Только что эти строчки о крике казались мне ценным творческим достижением. А теперь, после дружественного, но ехидного замечания Шерепина, я представил себе, что хожу во время дежурства вокруг горна и зачем-то ору во всю глотку. Боже, как глупо!..

Мать отнеслась к первой моей публикации милостиво. Она тоже заметила некоторые погрешности стиля, но главное для неё было то, что меня напечатали. Она верила, что это — только начало.

X X X

Мне нравилось работать в ночную смену. Что-то таинственное чудилось мне в этой работе. За окнами темно, а здесь — свет, ровный гул форсунок. Кажется, весь цех, весь кирпичный корпус плавно движется куда-то, плывёт в неведомое. И весь мир — неразгаданное чудо, которое можно разгадать только стихами. Но этих стихов ещё нет. В голову приходят отдельные строчки, их надо удержать в памяти; записывать их здесь не годится, ведь я на работе.

А время идёт. Теперь не так уж далеко до конца смены. Я вижу, что кочегар, дежурящий у соседнего горна, жуёт что-то. Во мне тоже пробуждается утренний аппетит. Я беру из своего шкафчика пакетик с бутербродами, их приготовила для меня мать. Руки я вытер, но всё равно пальцы мои пропитаны запахом мазута, поэтому я осторожно держу каждый кусок хлеба за уголок, а потом этот малюсенький кусочек-уголочек бросаю — на радость крысам. Эта привычка так прилипнет ко мне, что после того, как я возьму расчёт с завода, она многие годы будет сопровождать меня, и только война и блокада разлучат меня с ней. Но не навсегда. Лет через десять после войны она вернётся ко мне. Никак мне от неё не отделаться...

После того как я перекусил, в голове моей опять, тесня одна другую, возникают неожиданные строчки. Они порождены этой ночью, этой работой, и в то ж время они — совсем о другом. О чём — я и сам ещё толком не знаю. Вернувшись домой, спать ложусь не сразу. У меня теперь своя девятиметровая комнатка. В ней и мебель есть: кровать, этажерка, стул, трёхногое старенькое кресло и — самое главное — ломберный стол, который служит мне письменным. И хотя я изрядно устал за недавнюю трудовую ночь, но тянет, тянет меня к этому столу. Мной овладевает странное предсонное состояние. Чувство физической усталости не только не угнетает ума, но даже освобождает его от каких-то тайных оков. Сон во мне братается с явью. Я сажусь за стол и пишу стихи.

В одно такое стихотворное утро я до того за этим письменно-ломберным столом доработался, что у меня голова закружилась, я на мгновение сознание потерял и чуть со стула на пол не грохнулся.

...Комната моя темновата, в ней и ясным днём — сумерки, ибо окно выходит во двор, а он не широк, и флигель заслоняет свет. Но я не люблю яркого света, и комнатёнка кажется мне очень уютной. Плохо только то, что стены её хорошо пропускают

все звуки, а в соседней комнате обитает со своей женой Андрей Степанович, слепой баянист. Когда-то он выступал во всяких клубах, а теперь, на старости лет, даёт на дому музыкальные уроки молодым людям, будущим баянистам-гармонистам. По выходным дням сквозь стену мне очень даже слышно, как не то он, не то какой-нибудь его ученик вовсю наяривает на баяне, да ещё при этом в такт ногами по полу отбивает. Но злиться на Андрея Степановича я не могу: человек он добрый, порядочный, подстать своей жене. Да и все остальные жильцы нашей коммунальной квартиры — люди очень даже неплохие. Ни склок, ни ссор, ни доносов... А вот после войны довелось нам с женой пожить в другой коммуналке. Вот там-то я узнал почём фунт лиха. Вот там-то я лишний раз убедился в бытовой правдивости рассказов Зощенко!

Добрые гости

Иногда мой стол использовался по его прямому назначению, то есть как ломберный. В те дни, когда к матери и тёте Вере приходили гости, я переносил его в тёти-Верину комнату. Гости играли на нём в преферанс и ещё в какие-то сложные игры. Играли не на деньги, а ради самой игры, — и обычно не очень долго, а потом мать и тётя угощали их чаем с печеньем. И никогда ничем спиртным. Да и приходили к нам гости не ради еды и питья. Хорошие это были люди, и некоторых из них я до сих пор помню.

Очень прочно запомнился мне Георгий Генрихович Гобар, петербургский француз. Он преподавал в Военно-морском училище имени Фрунзе, а что преподавал — не знаю. Может быть, французский язык? И мать, и тётя очень бойко говорили по-французски, но каждый раз, когда этот гость уходил, они с восхищением отзывались о его настоящем парижском прононсе.

Гобар, немолодой человек с военной выправкой, с какой-то благородной точностью движений, очень мне нравился. Вот только его отчество казалось мне слишком уж величественным, слишком уж королевским. Георгий Гиенович, — так, в шутку, стал я его звать, когда дома заходил разговор о нём. «Только не скажи так при нём!» — смеясь, внушала мне мать. Но однажды, едва он вошёл в приходую, я, здороваясь, по рассеянности обратился к нему именно так. И мгновенно осознав свою ошибку, замер от чувства стыда и неловкости. Однако произошло нечто неожиданное. Гобар расхохотался, погладил меня рукой по плечу и сказал, что теперь он прикажет своим курсантам именовать его именно так, чтоб они его больше боялись.

Этому человеку я обязан тем, что стал менее лживым. Нет, абсолютно правдивым я не стал, но ложь имеет много разновидностей, и от одной из них Георгий Генрихович меня излечил. Как-то раз он спросил меня, читал ли я «Свет погас» Киплинга. Стихи Киплинга (разумеется, в переводе на русский) я уже знал, и некоторые — наизусть; и его «Книгу джунглей» читал. А вот «Свет погас» я прочесть ещё не успел, но мне было стыдно признаться в этом. Я соврал, что да, конечно, читал. Гобар повёл речь об этом романе и задал мне какой-то вопрос. Из моего ответа ему стало ясно, что я сказал неправду, — и тогда Георгий Генрихович как-то удивительно безобидно и убедительно растолковал, внушил мне, что лгать в таких случаях не нужно. Ибо когда человек сам признается, что он чего-то не знает, то это — не грех, ничего в этом нет постыдного. Наоборот, такое честное

признание означает, что человек этот намерен познать то, чего он ещё не познал. С того дня я никогда ни перед кем не скрываю своего незнания чего-либо.

Однажды Георгий Генрихович дал мне пригласительный билет на вечер в Военно-морском училище. Что был за вечер, какие там артисты выступали — всё вылетело из моей памяти. Но навсегда запомнилась внутренняя архитектура здания, мудрая и горделивая её простота и величие — и, конечно, компасный зал. Ещё удивила огромность другого зала, окна которого выходят на Двенадцатую линию. Через пятьдесят лет я там снова побывал. На этот раз на литературном вечере, посвящённом памяти поэта-моряка Алексея Лебедева. Талантливый и смелый это был человек. Давно взяла его война, давно погиб он в подводной лодке, а стихи его не погибнут. Они живут!

...Но вернусь на Шестую линию. Бывал у нас и дядя Федя, — Фёдор Александрович Изылметьев. Этот отставной военный инженер был уже в летах изрядных, но бодр, подтянут и как-то не по-старчески, а по-молодому благожелателен. Наверно, у него было сильное биополе, от него исходили незримые волны уюта и всепонимания. Сидишь с ним рядом — и чувствуешь себя добрее, и все люди кажутся тебе добрее и лучше, чем до его прихода. Мать моя очень уважала его. Однажды она сказала мне, что дальние его предки — не просто татары, а татары из Золотой Орды. Поэтому он может писать свою фамилию без мягкого знака после «т», ведь он не просто Изылметьев, а Изылметев. Конечно, теперь, после революции, это не имеет значения, но прежде всем, кто из Золотой Орды, разрешалось (или полагалось) писать окончания своих фамилий именно так, однако дядя Федя этой привилегией не пользовался из скромности.

Погиб он в блокаду. Он считал, что мужчина всегда должен помогать женщинам, и поэтому отказывался съедать свой блокадный паёк полностью, делился им с женой и дочерью. Он насильно заставлял их есть. Позже я узнал, что дочь его пришла однажды к моей матери и тёте Вере, просила их уговорить отца самому съедать положенную ему норму. Тётя пошла к ним, но Фёдор Александрович никаких уговоров не слушал. Он умер в декабре 1941 года. А жена его и дочь умерли от дистрофии в марте 1942 года, незадолго до смерти моей матери.

...Неоднократно бывала у нас и Мария Андреевна (фамилии не помню), давнишняя подруга матери по гимназии. Она носила огромные очки, из-за которых и голубые её глаза казались огромными. Она давала частные уроки французского языка, а, кроме того, работала в какой-то маленькой артели, где делали сапожные щётки. Муж её погиб в Белой армии, но об этом,

кажется, знали только очень немногие. Однажды она удивила меня своей, как мне показалось, невежливостью. Мать вернула ей червонец, который заняла у неё, а она каким-то небрежным тоном молвила: «Хорошо, хорошо, Женя», — и, сложив эту ассигнацию, сунула её в карманчик своей кофты. После её ухода я спросил мать, почему же её подруга не сказала спасибо. Мать объяснила мне, что возвращающих тебе долг благодарить не полагается, да и вообще при этом не следует проявлять радости. Ведь твой недавний должник может подумать, что ты сомневаешься в том, что он вернёт тебе долг, — поэтому и благодаришь, и радуешься.

Мария Андреевна знала множество очень сложных пасьянсов и очень охотно учила пасьянсному искусству всех, кого можно было обучить. Мать говорила, что она в своей коммунальной большущей квартире всех жильцов пасьянсами заразила и там её очень уважают за это, а одна жиличка даже пол в коридоре за неё моет. Сама же Мария Андреевна была убеждена, что по картам можно не только предугадать все грядущие события своей жизни, но что сами карты, если пасьянс сложится благополучно, могут благоприятно повлиять на судьбу гадающего. Если же карты предсказывают вам что-то плохое, то надо сразу же помолиться Богу или даже в церковь сходить, чтобы молитвой отстранить беду. В Бога она всё-таки верила больше, чем в карты.

Остальных гостей помню смутно, — ведь столько лет прошло. А разговоры их некоторые запомнились, в особенности о политике. Все с уважением отзывались о Франции: она и в Германскую войну хорошо воевала, и как-никак многих русских эмигрантов приютила, в других странах эмигрантам хуже живётся. В военном отношении она сейчас очень сильна, а авиация у неё — самая сильная в мире... Тогда почему-то очень многие были такого высокого мнения о французской военной мощи. Никто и думать не думал, что приближается время, когда Гитлер так уверенно и так быстро победит эту страну, — и даже знаменитая линия Мажино ей не поможет.

Политические разговоры гости вели не так уж часто. Гораздо чаще толковали о новых фильмах, о книгах. Часто хвалили Зощенко. Иногда мать читала вслух стихи Фета и Апухтина. Однажды прочла «Бэду-проповедника» Полонского, и я был прямо-таки очарован его стихотворением. Ныне Полонский почти забыт, многим и вовсе неизвестен. Да, он из средних, — но были у него вспышки гениальности. Когда я перечитываю его «Бэду», где слепец, обманутый своим поводырём, проповедует в пустыне, и дохожу до последней строки, где «Аминь! — Ему грянули камни в ответ», у меня холодок восторга бежит по коже.

Часто вспоминали гости время дореволюционное, — какие

пьесы шли тогда в театрах, какие артисты были в почёте, какие моды были. И о путешествиях зарубежных любили повспоминать. А вспомнить было что. Все успели во Франции, в Италии, в Германии побывать, и обязательно — в Швейцарии. И все хвалили Швейцарию, — и за красоту горных пейзажей, и за то, что там гостиницы очень уютные, и за то, что пребывание в этой стране обходилось дешевле, чем в прочих странах. Туда даже и студенты русские ездили на каникулы; ходили по стране пешком, ночевали и кормились в маленьких недорогих гостиницах, и уходило у них денег на это путешествие столько же, сколько бы они их в России за это время потратили. А ведь и в России жизнь была не очень дорогая, грех жаловаться.

Когда я теперь вспоминаю старших, вспоминаю их отношение к жизни, к людям, меня удивляет, что не было в их характерах, в их поведении ущемлённости, подавленности. А ведь все они были, как тогда говорилось и писалось, «из бывших» и все они до революции жили и свободнее, и богаче, все они очень многое в 1917 году потеряли. Все они знали, что прошлого не вернуть, но не было в их душах озлобленности на людей, и умели они шутливо относиться к своим невзгодам. Нынче даже некоторые преуспевающие люди смотрят на жизнь куда мрачнее, чем те «бывшие». Почему это? Быть может, потому, что характеры тех пожилых гостей складывались в счастливое для них время, — и так прочно сложились, что уже никакие удары судьбы не могли сломить их, вогнать в душевную нищету? Быть может, они заранее на всю жизнь запаслись счастьем?

Полезная неудача

Стихи я тогда строчил с какой-то графоманской лихостью. Шёл тот же 1933 год, только что было опубликовано моё стихотворение в многотиражке завода «Пролетарий», а уже через две недели после этого мирового события я принёс редактору Токсубаеву ещё три стихотворения. То были стихи не на производственную тему, и этот хороший человек очень мягко объяснил мне, что для многотиражки они не подойдут. И тут же он посоветовал мне толкнуться с ними в журнал «Резец», — там, мол, очень охотно молодых авторов печатают.

Вернувшись домой, я аккуратнейшим почерком переписал стихи заново, внёс в них кое-какие поправки, — и через два дня отправился с ними в редакцию «Резца». Она тогда находилась на Невском в доме N 88, в первом этаже, куда вели с улицы три чугунные ступеньки. Меня удивило, что нет никакого холла, никакого вестибюля, — редакция начиналась сразу же за дверью. В большой комнате стояло несколько письменных столов, совсем обыкновенных. За ними сидели какие-то люди, а посетителей было немного. Я-то думал, что попаду в какое-то торжественное место, где красуется какая-то необычная массивная мебель, где на стенах висят портреты писателей-классиков в позолоченных рамах, а попал вроде бы в канцелярию средней руки. Впрочем, эта неожиданная прозаичность обстановки даже обрадовала и немного успокоила меня, ведь я очень нервничал, входя в это помещение. У сидящей за столом молодой женщины я спросил, кто здесь заведует стихами, и она ответила, что стихами занимается литконсультант Михаил Васильевич Троицкий, — вот он, сидит за соседним столом.

Кто такой Троицкий, я тогда не знал. Позже я открыл его для себя как поэта, и поэта незаурядного, а потом и лично познакомился с ним — через наставника и друга моего Александра Ильича Гитовича. А в описываемый мною день я подошёл к столу литконсультанта Троицкого и робко вручил ему свои стихи. Он предложил мне сесть на стул, что стоял по другую сторону его стола, задал мне несколько вопросов, которых я теперь не помню, и начал читать мои творения. Читал молча, но некоторые строчки чуть слышно произносил вслух, — не для меня, а для себя.

У него было добро-серьёзное лицо, но по доброй серьёзности этого лица никак нельзя было угадать, нравятся Троицкому мои стихи или нисколько не нравятся. Но вот он кончил читать их — и вернул мне стихотворение о египетских пирамидах, сказав, что

оно — плохое. Затем он начал объяснять мне, чем именно оно плохое, но я так был взволнован, что ничего не понял. И тогда Троицкий, сообразив, что я ничего не понимаю, без пояснений вернул мне второе стихотворение, где речь шла о лошадях. О нём он кратко сообщил, что оно — ещё хуже. На очереди было третье моё творение — «Баллада о кочегаре» — о кочегаре не из горнового цеха, а о морском, корабельном. В этой балладе Троицкий подчеркнул одну строку, и я подумал, что наверно я какую-нибудь нелепицу там допустил, и сейчас этот строгий литконсультант скажет, что эта баллада ещё-ещё-ещё хуже-хуже-хуже двух моих предыдущих опусов. Но он сказал, что в ней есть что-то живое. В ней надо одну строчку исправить-переделать, и тогда баллада эта, быть может, увидит свет. Он так толково и просто объяснил мне, чем слаба подчёркнутая им строка, что я тут же её исправил.

Баллада осталась в редакции, а отвергнутые стихи я унёс с собой. Направился я не домой, а на завод; в тот день я работал в вечернюю смену. Там, у горна, я перечитал оба отвергнутых стихотворения — и бросил их в топку. Совершив эту кремацию, я вдруг вспомнил, что адрес свой надписал только на одном стихотворении — на «Пирамидах»; значит, на «Балладе о кочегаре» адреса моего нет. Однако это ничуть меня не встревожило: если баллада будет напечатана, то я ведь сразу об этом узнаю — и явлюсь за гонораром. Главное дело — напечататься!

О своём посещении «Резца» я никому не сказал, даже матери; я хотел сделать ей приятный сюрприз, преподнеся свеженький номер журнала со своим стихотворением. Вскоре я купил в газетном киоске на углу Шестой линии и Среднего проспекта очередной номер «Резца», однако моей балладой там и не пахло. Но у меня оставалась надежда на следующий номер. По тогдашней своей наивности, я считал, что если у поэта берут в журнал стихотворение, то оно обязательно появляется в печати сразу же, без всякой задержки. Никаких литературных знакомств у меня тогда ещё не было, некому было объяснить мне, что порой даже маститые авторы месяцами ждут появления в печати своих произведений.

Когда я купил следующий номер «Резца» (журнал этот выходил два раза в месяц) и увидел, что и там нет моей баллады, я решил, что её отвергли, зарубили, зарезали; да ведь Троицкий и не говорил, что она пойдёт наверняка, он сказал «может быть, пойдёт». Всё же, по инерции, я ещё месяца два продолжал покупать журнал номер за номером. Потом бросил. Огорчён я был очень, и в редакцию «Резца» после этого четыре года не

заглядывал. А когда я в 1938 году познакомился с Михаилом Васильевичем Троицким, то не стал напоминать ему о своём давнем посещении, о своей неудаче. Он же меня — тогдашнего — не помнил, -да и немудрёно: много-много авторов приносят в редакцию свои творения, всех их литконсультанту не упомнить. Это я по своему опыту знаю, я тоже потом литконсультантом работал.

В 1936 году я получил свой первый гонорар за стихотворение в газете «Смена». Стихотворение — слабенькое, безликое.

Потом я стал печататься в ленинградских журналах — в «Литературном современнике», «Звезде» и «Резце», где Троицкий уже не работал. Поэтическая моя колымага, скрипя, двигалась в гору; горечь неудачи постепенно рассасывалась. Потом вышла первая моя книжка стихов, потом, в блокадном Ленинграде, — вторая книжка свет увидела, затем после войны стали печатать и стихи, и прозу. И жил я в полной уверенности, что печататься начал в 1936 году; в анкетах, где надо было указывать год своего первого появления в печати, уверенно ставил 1936 год. А в 1976 году я узнал, что «Баллада о кочегаре», оказывается, была напечатана, — и своими глазами прочёл её в N 18 «Резца» за 1933 год. С сорокалетним опозданием. Но Михаила Троицкого я поблагодарить уже не смог; обороняя родной Ленинград, он героически погиб под Невской Дубровкой в декабре 1941 года.

Я помню его — доброго, скромного, остроумного питерца. Но — главное — помню его стихи и знаю его как талантливого поэта. В поэзии его благородно породнены город и пригород; не уравнены, а именно породнены. Есть у него и стихи-предчувствия, стихи-прозрения, и многое из того, что он предвидел и предчувствовал, — сбывается. Коронным его стихотворением я считаю «Музей муравьёв». Его мог создать только очень творчески смелый и очень остро чувствующий своё время поэт.

Я благодарен Михаилу Васильевичу за то, что по его доброй воле мне впервые довелось всерьёз напечататься. А судьбу я благодарю за то, что узнал об этом не сразу. Я хорошо помню себя тогдашнего, восемнадцатилетнего, я гляжу теперь со стороны на этого Вадима Шефнера. То был довольно-таки легкомысленный, легковерный и самонадеянный субъект. Если бы он тогда, в 1933 году, прочёл свои вирши на странице журнала, если бы он тогда огрёб свой первый гонорар, — он бы возгордился, он мог и работу на заводе бросить — и сиднем сидеть за письменно-ломберным столом, строча свои творения. Он начал бы таскаться по редакциям, а так как стишки его были зелены, незрелы, то его ждали бы отказы, муки уязвлённого самолюбия. К хорошему это его бы не привело... Конечно, ему

обидно было ждать появления в печати своей баллады — и, вроде бы, не дождаться. Но иногда госпожа Судьба подбрасывает нам небольшие неприятности для того, чтобы уберечь нас от больших невзгод, а то и от смерти.

Шесть лет тому назад, во время зимней оттепели шёл я по проспекту Щорса, что на Петроградской стороне. Шёл, поскользнулся, упал и больно ушиб мизинец на левой руке. Машинально выругавшись, помянув недобрым словом нерадивость нынешних питерских дворников, пошёл дальше. Миновал три дома — и вдруг в четырёх шагах передо мной с грохотом обрушился на тротуар здоровенный кусок льда. Как выяснилось, он упал с высоты пятого этажа из поломанной водосточной трубы. Я подсчитал: если бы я не поскользнулся за несколько секунд до этого, то угодил бы под эту ледяную болванку — и амба. Спасибо тебе, Судьба! Спасибо вам, дворники!.. Случались в моей жизни и иные неприятности, не будь которых, мне пришлось бы гораздо хуже.

Ждали гостей недобрых…

В конце 1934 года, после убийства Кирова, нахлынула волна репрессий. Коснулась она и дворян; их стали высылать из Ленинграда только за то, что они — бывшие дворяне. В газетах некоторые журналисты вовсю торжествовали по этому поводу, призывали к бдительности, славили Ежова, — он мол, всех кого надо возьмёт в ежовы рукавицы! Мать, тётя Вера и дядя Костя прониклись убеждением, что нашему семейству грозит беда и что нагрянет она скоро. Стали готовить чемоданы. Тревожно, невесело стало в нашей квартире.

У меня до сих пор хранится справка, выданная мне (не помню, для какой надобности) управдомом Бурлаковым 22 августа 1933 года. В ней сказано, что она «Дана гр-ну Шефнеру В.С. в том, что он проживает в д.N 17, кв.31 по 6 линии В.О. Соц. положение рабочий, в списках лишенцев не состоит». Мать утверждала, что благодаря этой справке меня никуда не вышлют, ведь я, выходит, — пролетарий. Но это было слабое утешение; я вовсе не собирался расставаться с матерью. И в то же время мне казалось, что без Питера для меня — не жизнь. Ведь та девушка, в которую я был прочно, но безнадёжно влюблён, останется в городе. И друзья мои тоже в нём останутся… В эти дни в памяти моей всё время прокручивалось стихотворение Брюсова «Демон самоубийства». Оно давно запало мне в душу своей убедительной трагичностью, но прежде я считал, что ко мне оно прямого отношения не имеет, а теперь мне стало чудиться, что оно — подсказка для меня. Может быть, жить мне не стоит? Помру — и тогда никаких тревог.

Эти свои летальные мысли я держал при себе, даже с самыми близкими друзьями не делился ими. Но однажды зашёл ко мне товарищ по школе Витька Тальников, и я почему-то раскрылся перед ним. Почему — сам не знаю. Особой дружбы у нас не было, встречались мы не так уж часто, а тут я вдруг разоткровенничался, поведал ему, что подумываю о своей самодеятельной кончине. Витька сделал шутовски-испуганное лицо, выпучил глаза — и сказал, что ему страшно за меня, но есть дела и пострашней. Ведь самое ужасное на свете — это пожар в бардаке во время наводнения! Затем он заявил, что я глуп, как бабий пуп, весело обругал меня всяческими печатными и непечатными словами — и ушёл, взяв у меня почитать (с возвратом под честное слово) томик Джека Лондона. И — странное дело — после этой беседы помирать мне уже не хотелось, на душе стало легче, мир стал светлее. Теперь я думаю,

что начни Витька уговаривать меня не кончать с собой, начни он логически доказывать мне ненужность этого мероприятия, вряд ли сумел бы он пробудить во мне волю к жизни. Наверное, именно потому, что он так шутовски, так несерьёзно отнёсся к моей исповеди, он и меня убедил в несерьёзности, в нелепости моего печального замысла.

Вскоре выслали из Ленинграда двух наших знакомых, — за дворянство. Похоже, и к нашему семейству беда приближалась. Однажды, вернувшись с «Пролетария» с вечерней смены, я застал в своей комнатке мать и дядю Костю. Они жгли семейный архив; печка уже полна была бумажным пеплом. Печка в комнате моей была самая невзрачная в квартире, — в железной рубашке, без кафельной облицовки, но она никогда не дымила, в ней была очень хорошая тяга, поэтому и выбрали её для этого невесёлого дела. Жгли грамоты с восковыми печатями, всякие документы, письма... Все эти бумаги, попади они при обыске в чужие руки, могли повредить и дальним родственникам. и знакомым. Жгли и те манускрипты, которые просто не имело смысла брать с собой в ссылку неведомо куда, ведь там они рано или поздно пропадут, пойдут кому-нибудь на обёртку, а то и в сортире кто-нибудь будет ими подтираться, — так лучше сжечь их теперь, не дожидаясь всего этого.

Жгли не всё подряд, а выборочно. Часть семейных документов сохранилась, в том числе рукописная книжка, куда с 1728 года вписывали браки, крестины, рождения и кончины семьи фон-Линдстремов. Сохранились послужные списки, письма некоторые и довольно много фотографий. Всё это и в годы блокады не погибло, и теперь хранится у меня.

После этого аутодафе дни шли за днями в тревожном ожидании — вот-вот раздастся ночной звонок у двери в нашу квартиру. Потом волна высылок начала спадать. Нас не тронули. Миновала нас чаша сия.

Я — член литгруппы при «Смене»

Теперь, когда гляжу на себя былого-молодого из своего сегодняшнего дня, некоторые давние мои поступки и решения кажутся мне непонятными, логически необъяснимыми, а то и просто нелепыми. Воспоминания об этих поступках и решениях остались, вошли в мою жизнь, а побудительные причины забылись; быть может, они были столь ничтожны и случайны, что память их стыдливо отвела, отказалась хранить их. Ясно одно: в те годы мной всё время владело стремление к перемене мест. Не мест проживания, а мест работы.

В конце 1935 года я взял расчёт на «Пролетарии» и поступил на завод «Электроаппарат», стал сверловщиком. На работу приняли меня без помех, безработица уже ушла в былое, рабочих рук не хватало. Новую специальность освоил я довольно быстро, да и не мудрено: работать на радиально-сверлильном станке куда проще, чем, скажем, на токарном или на строгальном. Вот только долго не мог я научиться свёрла точить, и первое время их мне дежурный мастер затачивал. А тупились они быстро, да порой и ломались, в особенности когда приходилось сверлить немагнитное железо; оно очень крепкое.

Станок мой фирмы «Браун» на вид был очень мощным, монументальным, но были в цеху радильно-сверлильные станки и поменьше, получше, поновей. А про мой говорили, что он — дореволюционного выпуска, пора его в металлолом сдать. Но мне он пришёлся по душе: подумать только, — такая он махина, а я над ним властвую! Стоял мой «Браун» в самом конце цеха, в тупичке, так что мне виден был весь огромный зал. В три (или в два, точно не помню) ряда стояли там токарные и прочие станки, и над ними вращались валы, от которых тянулись к станкам приводные ремни. От работы трансмиссий по цеху шёл мелодичный шум — будто дождик идёт. У многих станков работали молодые женщины и девушки в синих спецовках, в плотно повязанных платочках. На лицах их было запечатлено трудовое внимание, отрешённость от всего второстепенного ради работы. Запомнились они мне своим индустриальным благородством — иного определения мне не подыскать. Нынче тема фабрично-заводского труда считается вроде бы исчерпанной, о нём писатели теперь почти и не пишут. Но я уверен, что тема эта ещё оживёт, её воскресит ход времени; появятся молодые талантливые поэты и прозаики, которые новыми словами воспоют труд рабочих и заново внушат читателям романтическое отношение к будничной, обыденной,

нелёгкой работе на производстве. Ведь подлинное уважение к людям зиждется на уважении к их труду.

В том же 1935 году я стал членом литературной группы при газете «Смена», — и благодаря этому 1935 год стал поворотным годом в моей жизни и судьбе. Там, в этой литгруппе, вступил я на тот путь, по которому — уже старческой неторопливой походкой — шагаю и поныне.

Вёл ту поэтическую группу Илья Яковлевич Бражнин. Он был прозаиком, но очень тонко чувствовал стихи и, обладая великолепной памятью, очень хорошо знал русскую поэзию всех времён и направлений. Он был справедлив, у него не было ни любимчиков, ни обиженных. В то же время в справедливости его не было педантичной сухости; он знал, что он должен сказать каждому из нас, каждого понимал. Увы, многих его учеников уже нет в живых. А те, что живы, с благодарностью о нём вспоминают. Он умер в 1982 году. Незадолго до этого вышла в свет его книга «Сумка волшебника»; в одной из глав этой книги Илья Яковлевич дружески повествует о своих литгрупповцах — «сменовцах» А.Чивилихине, Б.Шмидте, А.Клещенко, С.Виндермане, С.Ботвиннике, И.Михайлове, обо мне.

X X X

Изредка на встречу с нами, литгрупповцами, Илья Яковлевич приглашал известных ленинградских поэтов. Одна такая встреча мне очень запомнилась.

...Ленинградская осень 1935 года. Мне двадцать лет. Я уже несколько месяцев состою в литгруппе при «Смене», я уже подружился с некоторыми литгрупповцами, уже проникся уважением к нашему руководителю — Илье Яковлевичу Бражнину. Он строг, но никого не обижает. Правда, сами-то мы при обсуждении стихов вдосталь обижаем друг друга. Но именно дрг друга, а не враг врага. Это дружеские обиды, это учебные обиды, это драгоценные обиды, — они помогают нам. Меня уже обсуждали месяца четыре тому назад, но я опять накопил уйму новых стихов и на следующий вторник назначено второе обсуждение. Но за три дня до этого вторника звонит мне мой друг Анатолий Чивилихин. Он только что узнал, что моё выступление переносится. «Но поэзия от этого не прогадает, -с дружеским ехидством уточняет он своё сообщение. — Вместо твоих завываний мы услышим стихи как таковые. И читать их будет поэт как таковой. И поэт этот — сам Борис Корнилов».

«Вот это здорово! Сам Борис Корнилов!» — думаю я. Мне нисколько не обидно уступить «свой» вторник такому поэту. Имя его — на устах у всех литгрупповцев, о стихах его спорят, им подражают — одни вольно, другие невольно, ибо в творчестве его есть некая подчиняющая себе сила. В стихах его ощущается то явная, то затаённая печаль, — в те годы такие стихи писать было нелегко, на это смелость нужна. Есть в его поэзии и предчувствие грядущей войны. Никто не знает, когда она начнётся, но все смутно ощущают её неизбежность. Теперь мне кажется, что и предчувствие ранней гибели, на которую обрекло его кровожадное, неправедное время, есть в его стихах...

Наступает этот самый вторник. Я спешу в Торговый переулок, в редакцию «Смены». Здесь и «сменовцы» в полном сборе, и ребята из других литгрупп, прослышавшие о нашем госте...

В нешироком редакционном коридоре, окружённый литгрупповцами, стоял человек среднего роста, скорее полный, нежели худощавый, с внимательным, но не строгим выражением лица. На нём была не то куртка, не то гимнастёрка добротного сукна — одним словом, какая-то полувоенная одежда; так любили в те годы одеваться хозяйственники, деловые люди. Позже я видал Корнилова раза два издали уже в обычном, вполне штатском костюме. Но зрительно он впечатался в мою память

именно таким, каким я его увидел впервые. И должен сознаться, что-то нарочитое почудилось мне в этой полувоенно-хозяйственной форме. Да и весь его облик показался мне «непоэическим», не соответствующим его стихам. Несколько позже, когда я впервые увидел Николая Заболоцкого, я тоже был удивлён его «прозаическим» внешним обликом. А потом я где-то вычитал такую мысль: если актёр в жизни слишком уж похож на актёра, то на сцене он — плохой актёр. Может, это и к поэтам применимо? Самые вдохновенно-поэтические выражения лиц обычно у графоманов.

Всё поверхностное, второстепенное сразу же ушло, отхлынуло в тень, когда Корнилов приступил к чтению. Начал он с поэмы «Моя Африка», прочёл её всю, затем читал стихи по нашим заявкам, в том числе и моё любимое стихотворение «Под елью изнурённой и громоздкой...» Голос у него был густой, даже чуть глуховатый; слова он произносил, слегка растягивая в них гласные и еле заметно окя. В чтении его не было никакого псевдоартистизма, никакого дешёвого пафоса, никакой наигранности — скорее даже некоторая монотонность ощущалась. Но, быть может, именно сквозь эту монотонность полнее просвечивала глубинная суть его стихов, их «лирический напор» (очень модное в те годы выражение).

Потом он отвечал на наши вопросы, но на какие — я запамятовал. Помню только, что разговаривал с нами и даже спорил он вполне уважительно, нисколько не чинясь, а ведь мы по сравнению с ним, с его поэтическим опытом и известностью, были тогда, можно сказать, приготовишками. За это человеческое отношение к нам, литгрупповцам, я сразу же простил ему его «хозяйственное» одеяние.

...Есть у Бориса Корнилова стихотворение «Без тоски, без грусти, без оглядки...» Оно — о смерти, о неизбежности её для каждого человека. Печально-тревожное стихотворение. Но вот его предпоследняя строфа:

Впрочем, скучно говорить о смерти,
Попрошу вас не склонять главу,
Вы стихотворению не верьте, -
Я ещё, товарищи, живу.

Он прожил немногим более тридцати лет, не совершив в искусстве всего того, что мог бы совершить. Но и тем, что он успел сделать, он навсегда вошёл в русло русской поэзии — и не безымянной капелькой.

После ареста и гибели Бориса Корнилова стихи его не

переиздавались в течение двух десятилетий. Лишь в 1957 году вышел, наконец, том с его поэмами и стихотворениями и с подробным грустно-вдумчивым предисловием Ольги Барггольц. Я бережно храню эту книгу; она дорога мне и стихами её автора, и тем, что сама Ольга Фёдоровна вручила её мне с доброй дарственной надписью.

X X X

Об одном из тогдашних «сменовцев» хочу сказать особо. В «Смене» я познакомился и подружился в Анатолием Чивилихиным. Я благодарен за это «Смене» и Судьбе. Он давно умер, но он жив не только в моей памяти, но и в поэзии. Его стихотворение «Отход прикрывает четвёртая рота...» украшает собой многие поэтические антологии. Стихам его свойственна некая классическая строгость, даже некоторая вроде бы умозрительная рассудочность, но сквозь это просвечивает такая искренность, такое своеобразное восприятие жизни, что читаю их — и завидую дружески: вот бы и мне так писать научиться! Но чёрта с два научишься! Для этого надо быть таким человеком, каким был он. А был он человеком очень строгим к себе и очень справедливым к другим, порой во вред себе. Судьба у него была сложная. После войны он одно время даже Ленинградское отделение Союза писателей возглавлял. Память о днях его правления осталась добрая, но очень недолго пробыл он на этом скользком поприще; душевная прямота, совестливость Анатолия не вязались с такой хитрой работёнкой. Последние три года своей жизни провёл он в Москве. Сменял он Питер на Первопрестольную не из карьеристских и не из литературно-творческих соображений, — тут было дело сугубо личное, сердечное. Там он и умер в 1957 году, в июле. На похоронах его мне быть не довелось. В том году вышла моя первая прозаическая книга «Облака над дорогой», гонорар был неплохой, и мы с женой совершили довольно длительное летнее путешествие на теплоходе по маршруту Ленинград — Москва — Астрахань и обратно. О смерти своего доброго друга я узнал только в середине августа.

А в первой дальней послевоенной поездке попутчиком моим был Анатолий Чивилихин. Ранней осенью мы с ним, в составе небольшой группки ленинградских писателей, выехали из Питера в Москву, чтобы оттуда ехать в Армению. Кто кроме нас был в той ленинградской делегации — не помню. А всё остальное очень даже запомнилось. То была не очень-то простая поездочка.

В Москве мы с Анатолием пошли в гости к его однополчанину, с которым он подружился на Волховском фронте. Разумеется, состоялась выпивка. В ту молодую пору выпивали мы довольно часто, и меру не всегда знали. Так и на этот раз случилось. Фронтовые воспоминания, стопка за стопкой... В результате мы поздно вспомнили, что пора на вокзал. Поезд на Ереван ушёл без нас. С горя мы опрокинули ещё по стопочке, а

потом однополчанин Анатолия стал названивать своему другу-однополчанину, у которого, в свою очередь, был друг, имеющий отношение к авиации. И произошло чудо: ранним-ранним утром мы с Анатолием с какого-то невзрачного аэродрома бесплатно вылетели в Тбилиси, чтобы там сесть в поезд, идущий на Ереван. Небольшой дряхленький самолёт, в котором мы летели, был не рейсовый и, кажется, даже не пассажирский. Сидений в нём было немного, на них сидели несколько военных и мы; остальное место занимали какие-то ящики. А дверь этого летательного аппарата была изнутри подпёрта изогнутой водопроводной трубой небольшого диаметра — чтоб вдруг не распахнулась во время полёта.

Приземлившись в Тбилиси, мы отправились к вокзалу. Возле вокзала, у какого-то полукруглого здания (кажется, там принимали на хранение багаж), Анатолий оставил меня сторожить наши чемоданы, а сам пошёл покупать билеты. Мы ехали в военной форме (только без погон), а свои новенькие штатские костюмы — первые послевоенные — вместе с рубашками и галстуками, чтобы не помять, не порвать их, везли в чемоданах. И вот стою я возле наших драгоценных чемоданов, мимо шагает народ, никто на наше имущество не зарится, — и вдруг вижу и слышу: плавной, танцующей походкой идёт красивая, симпатичная девица и насвистывает что-то вроде румбы. Миловидных девушек на свете не так уж мало, но чтобы к миловидности вдобавок девушка была ещё и свистящей — это редкость. Я заинтересовался, загляделся, заслушался. Потом она исчезла, а через мгновенье я обнаружил, что исчез и один чемодан, — не мой, а моего друга.

Вскоре вернулся Анатолий. Узнав, что его чемодан украден, он не упрекнул меня ни единым словом за моё ротозейство. Он стал расспрашивать меня, как выглядит эта красотка, при помощи которой неизвестный вор отвлёк моё внимание, а мне было очень неловко, очень стыдно. Уж лучше бы Толя меня матом обложил... Но какой уж там! Мой друг пустился рассказывать мне какие-то дорожные анекдоты, а потом заявил, что поскольку деньжата у нас кое-какие есть, нам надо пойти в ресторан, перекусить там как следует, а заодно выпить по стопке за здоровье прекрасной свистуньи...

Поезд, который вёз нас в Ереван, был не курьерский, не скорый, а просто пассажирский, и останавливался на каждом полустанке. И вагон был не мягкий, не купейный, а общий — пассажиры входили и выходили. Уснул я не совсем в трезвом виде, а когда проснулся на своей нижней койке, то обнаружил, что на руке моей нет часов. Потом выяснилось, что и чемодана

моего нет. Анатолий стал меня утешать, а я очень обрадовался. Быть может, я был первым в мире человеком, который обрадовался, что его обокрали. Ведь это кража-пропажа как бы уравняла меня с моим другом, уравновесила наши невзгоды путевые, сняла с меня вину. Спасибо тебе, неведомый ворюга!

В прекрасном городе Ереване мы провели дней пять. Вместе с прочими приезжими писателями участвовали в литературных вечерах, и даже побывали с ними в гостях у Аветика Исаакяна. Стихи этого мудрого, очень своеобразного поэта я знаю с довоенных времён по переводам Валерия Брюсова. И в Эчмиадзине мы побывали. Все были в штатском, и только мы с Анатолием Чивилихиным — в военной форме. Мы, конечно, объяснили, рассказали, почему мы так непразднично одеты, — и все нам дружески сочувствовали. После этого я дважды побывал в Армении. Что-то таинственное, неразгаданное есть в этой стране, — недаром именно туда причалил Ноев ковчег.

X X X

С той поры много у меня было дальних поездок. Весь Советский Союз исколесил. И больше ни разу меня никто в дороге не обокрал. Наоборот, меня обогащали. Немало такого, чего ни в каких книгах не найдёшь, услышал я в поездах дальнего следования; в пути люди очень правдивы и откровенны. В дальней дороге у самых скрытых разверзаются уста, они порой готовы поведать случайному попутчику своё самое сокровенное, самое потаённое, — такое, что и от друга и от матери скрывают. Вагон — дорожная исповедальня. А самолёт — это другое дело. Время-то твоё он сберегает, но в полёте ты теряешь ощущение дороги, да и с людьми нет душевного общения. В самолёте проглатываешь пространство, как безвкусную пилюлю.

Я люблю дальние поезда.

Архивариус и рабфаковец

На заводе «Электроаппарат» проработал я недолго. Расчёт дали мне без сопротивления: видать, сверловщиком я был не ахти каким. А ушёл я оттуда потому, что работать там приходилось в три смены, а я возымел намерение поступить на рабфак, на вечернее отделение. Мне нужна была односменная работа. И вот по рекомендации моего школьного друга Димы Фёдорова, у которого был знакомый инженер на оптико-механическом заводе, устроился я в проектное бюро. Зачислили меня туда чертёжником-архивариусом. Этот ОМЗ N 5 находился на Третьей линии Васильевского острова, принадлежал Наркомпросу и производил микроскопы и прочие оптические приборы для школ. Теперь, как ни странно, в этом же здании давно уже действует обувная фабрика, и только очень пожилые василеостровцы помнят, что там когда-то был Оптико-механический завод N 5.

Чертить мне там приходилось очень редко. Я сверял чужие чертежи, нумеровал их, раздавал их по поручению инженера его подчинённым, относил их в цеха. По правде говоря, у меня осталось впечатление, что никаким архивариусом я там не был, а был мальчиком на побегушках. Работа была совсем не интересная. Пытаюсь припомнить её подробности, а в голове — пустота. Зато хорошо запомнилась буфетчица из заводской столовой. Красавицей она не была, но звали её Фея. То было не имя, а прозвище, а прозвали её так по её аббревиатуре, ибо в паспорте она значилась как Фаина Елисеевна, а фамилия начиналась с буквы «Я». Позже на моём жизненном пути встретилась Яга (Янина Густавовна, а фамилия — на букву «А»); то была добрая женщина, на ведьму она не походила. Знаком я был и с ГАДом (Григорием Андреевичем, а фамилия — на «Д»), человеком вполне порядочным, и с ВОРом, который ни разу в жизни ничего ни у кого не украл... Отцы и матери, давая своим детям имена, не всегда учитывают, как будут звучать их трехбуквенные инициалы. А думать тут надо!

Ещё запомнился мне на ОМЗ N 5 нестарый человек по прозвищу Скучный Боря, — заглазно именно так все его звали. Он очень старательно изучал сам себя и со всеми говорил только о себе. То он сообщал всем и каждому, что ногти на правой руке растут у него быстрее, чем на левой, то горестно извещал о том, что вчера он забыл принять на ночь слабительную таблетку, а посему сегодня у него «твёрдый стул». А ещё любил он рассказывать о том, что ему прошлой ночью приснилось. Сны у него были вполне приличные, неинтересные. Во время обеденных

перерывов этот Скучный Боря часто присаживался в столовке к тому столику, за которым сидел я, — ведь я был для него свежим слушателем, всем остальным он давно надоел. А мне с ним скучно не было. Он нёс свою скучнятину, а я слушал и размышлял, почему это он такую ерунду плетёт. Сейчас, на старости лет, могу сказать, что я до сих пор не знаю, что это за штука — скука. Никогда в жизни нигде и ни с кем не было мне скучно. Бывало грустно, тоскливо, тяжело, боязно, страшно, жутко, но от скуки Бог меня уберёг. Мне и со скучными не скучно.

А однажды тот Скучный Боря поведал мне нечто совсем не скучное: во вчерашнем своём сне он видел всё то же самое, что и в позавчерашнем, но только всё это было совсем другого цвета, какого-то совсем небывалого. Когда я рассказал об этом матери, она высказала предположение, что, быть может, каждый человек — и наяву и во сне — видит свои цвета. То есть я, например, вижу зелёный цвет, но это совсем не тот зелёный цвет, который видит мой сосед по столу. И никто не может рассказать, объяснить другому, какие цвета он видит. На это нет слов.

Я цветные сны вижу редко. Быть может, именно потому мне запомнился один страшный цветной сон. Мне приснилось, будто иду я по Университетской набережной Васильевского острова, собираюсь свернуть на Дворцовый мост и вдруг вижу, что из гранитной ограды торчит окровавленная рука, а навстречу мне какой-то человек катит ручную тележку на двух колёсах. Тележка как тележка, только вместо деревянных спиц — кости. Это было за четыре дня до начала Великой Отечественной войны, однако каким-то провиденциальным чудом сон тот считать я не могу. Дело в том, что за неделю до этого в магазине старой книги я долго листал и разглядывал какой-то художественный альбом зарубежного издания, где, наряду с прочими художниками, было уделено место и Сальватору Дали, то есть там были репродукции его картин. Альбома этого я не купил, стоил он дороговато, но картины Дали произвели на меня сильное впечатление, прочно обосновались в памяти — вот и приснилось мне нечто в стиле этого художника. И случайно сон тот совпал с приближающейся тяжкой датой.

Много загадочней кажется мне другой сон, хотя по своему содержанию он куда мельче того, о котором я рассказал выше. На «Пролетарии» один кочегар умел отлично формовать курительные трубки. Отформовал он трубочку и мне. Я обжёг её в горне; сунув в капсель с электроизоляторами, а потом тот же добрый кочегар сделал мне к ней деревянный мундштук. Я уже привык к папиросам, курил их теперь вполне открыто, без утайки от домашних, а иногда «для понта» покуривал дома и эту

трубочку. Однажды утром курил я её на кухне возле керосинки, а когда закипел чайник, позабыл её на кухонном столе. Вернувшись домой после утренней смены, трубки я в кухне не нашёл. Ни мать, ни сестра, ни остальные обитатели нашей коммунальной квартиры не знали, куда она девалась. У всех возникло предположение, что трубку взяла малолетняя дочка тех жильцов, что недавно въехали в нашу квартиру, взяла, мол, поиграла, и затеряла где-то. Наверно, так оно и было, но когда стали расспрашивать ту девочку, она сказала, что никакой трубки она не помнит. Ну, на нет и суда нет. Не так уж и нужна была мне трубка эта, невелика потеря... А месяца через три-четыре после этой пропажи увидел я свою трубку во сне, будто лежит она под тёти-Вериным комодом, который стоит в прихожей. В сон я, разумеется, не поверил, мало ли что приснится. Но однажды, когда была моя очередь подметать коридор и прихожую, я всё-таки решил — в шутку — проверить свой сон. Комод покоился на низеньких деревянных ножках-брусках, половую щётку под него просунуть было нельзя, поэтому под ним никогда не подметали. Но я засунул туда трость дяди Кости, стоявшую в углу прихожей, пошевелил ею под левым задним устоем комода — и вместе со слежавшейся пылью вылезла из-под комода моя трубка. Помню, что никакой радости я тогда не ощутил. Я был ошеломлён.

И всё-таки, какие бы странные сны нам ни снились, — самое странное, самое загадочное в них это то, что мы видим их закрытыми глазами.

О любви не говори…

«О любви не говори, о ней всё сказано» — такими словами начинается романс, когда-то очень модный. О своих давних влюблённостях я в этом своём повествовании ничего не говорю. Почему? Потому, что, в меру своих литературных возможностей, все об этом уже сказал в стихах и прозе, — и от себя лично, и от лица своих героев. Не хочу повторяться, ибо никакими словами нельзя воскресить того, что однажды сказано-рассказано о любви. Не хочу унижать ни тех, в кого я влюблялся в молодости, ни самого себя, былого-молодого, старческим бормотанием о своих давнишних сердечных радостях и невзгодах. Я был сентиментально-влюбчив, в ухаживаниях мне редко везло, много было у меня душевных терзаний из-за этого. А всё-таки я, наверное, человек удачливый. В конце концов я женился на той, с которой счастлив уже сорок девять лет. Когда мне в чём-то не везёт, когда дела мои не ладятся, я мысленно повторяю утешительную формулу: «Дурак-Вадим, тебе стыдно кукситься: тебе повезло и с тем городом, где ты родился, и с той, на которой женился!»

О всех девушках и женщинах, в которых когда-то влюблялся, вспоминаю я со смиренной благодарностью. Как бы они ко мне ни относились — плохих среди них не было; это я был для них плохой. Да и вообще плохие, злые женщины встречались мне на жизненном моем пути куда реже, чем злые представители моего пола. Женщины созданы для добра, ведьмами они не рождаются, — это жизнь учит злу кое-кого из них. А в мужчинах некоторых зло словно генетически заложено — не поймёшь, с чего они такими сволочами стали.

…На Оптико-механическом заводе N 5 проработал я совсем недолго, а затем устроился на работу в книжную не то базу, не то контору, которая находилась в Гостином дворе. Там я и ещё несколько молодых людей упаковывали в пачки книги — разные справочники и подписные издания. Работал я там месяца полтора, но на всю жизнь запомнил одного парня моих тогдашних лет, работавшего рядом со мной. Он был здоровый, румяный, раскормленный и весь пропитанный злобой и завистью. Он ненавидел всё и вся — даже книги, которые упаковывал. И обо всех, даже о своей девушке, говорил такие пакости, что слушать было тошно. Ни разу ни о ком и ни о чём он по-доброму не отозвался, всё норовил облить грязью. А жил он в семье благополучной, никакие беды и обиды тех нелёгких лет его не коснулись.

Теперь, на склоне своей жизни, я думаю, что такие гниды двуногие тоже нужны человечеству. Нужны для того, чтобы люди знали, какими им не надо быть. Ибо если среди хороших не будет плохих, то хорошие, незаметно для самих себя, утонут в море благополучия, тоже могут стать плохими, эгоистичными. Быть может, в далёком-далёком будущем дрянных людей вовсе не будет, — и тогда, на смену им, будут сконструированы ходячие, говорящие и пишущие человекоообразные биоэлектронные механизмы с отрицательными людскими свойствами. На каждый школьный класс, на каждую вузовскую аудиторию, на каждое учреждение, на каждый заводской цех выделят по одному такому электронному негодяю. Он будет говорить глупости и гадости, писать склочные доносы, а живые люди будут радостно думать: «Мы-то, слава Богу, не таковские! Мы такими никогда не станем!» В учебных заведениях эти псевдочеловеки будут иногда нагло приставать к девушкам, чтобы нормальные живые парни могли проявить своё душевное благородство и физическую силу, защищая своих подруг от электронных хулиганов.

X X X

Прежде чем стать профессиональным литератором, я сменил ещё несколько мест работы. Был библиотекарем, потом — подносчиком кирпича на стройке; был и обрубщиком в литейном цеху на заводе Котлякова. В те годы такая частая перемена мест казалась мне вполне естественной, а нынче, на старости лет, сам дивлюсь своей тогдашней непоседливости. И ведь порой я менял более выгодную и более лёгкую работу на менее доходную и более трудную, — вот что странно. Быть может, меня подсознательно влекло стремление увидеть новых людей, услышать от них нечто новое, неожиданное? Быть может, во мне уже жил писатель-прозаик — и эта жадность к общению со всё новыми и новыми собеседниками потом помогла мне в работе над прозой? Мысли и слова людей интереснее и многообразнее их дел и поступков. Есть ситуации, где сто человек из ста поступят одинаково, но каждый из них расскажет об этом по-разному, своими словами, и приведёт свои доводы.

Дела медицинские

Осенью 1936 года я поступил на второй курс рабфака при Ленинградском университете. Находилось это учебное заведение на Десятой линии Васильевского острова, в том здании, где когда-то были знаменитые Бестужевские женские курсы. Почему я поступил на рабфак? Для того, чтобы, кончив его, победоносно держать экзамен в Медицинский институт! А почему это вдруг решил стать врачом? Да потому, наверное, что в каждом человеке живёт обезьяна. А во мне, видать, большущая обезьянища обитала. Мой друг со школьных лет Левушка Мюллер, коренной питерский немец, к тому времени успел закончить школу-девятилетку и учился в Мединституте. Он так вдохновенно толковал со мной о медицине, что я заразился от него стремлением освоить эту науку — и затем исцелять людей от всех недугов и хворей. Будущей своей врачебной специальности я ещё не выбрал, я ещё раздумывал, кем мне быть: психиатром или терапевтом. В психиатрии меня привлекала таинственность, многогранность этой науки; в книге «Творчество душевнобольных» я прочёл, что при некоторых психических болезнях социальная ценность больного на первой стадии заболевания не только не сходит на нет, но даже повышается. Но и работа врачей-терапевтов казалась мне очень интересной и многообещающей.

Хоть друг мой и очень хвалил медицину, но делал он это из любви к своей будущей работе, а вовсе не для того, чтобы я последовал его примеру. Он честно сообщим мне, что хорошего врача из меня не получится, кончи я хоть десять мединститутов, ибо я рождён быть пациентом, а не врачом. Однажды Лёва (очевидно, чтобы показать мне теневую сторону медицинского труда) устроил для меня странную экскурсию: с его старшим братом, тоже будущим медиком, мы побывали в больнице на Загородном проспекте, а точнее сказать — в прозекторской. Помещалась она не то в первом этаже, не то в подвале. В какой-то маленькой сырой комнатке лежал на высокой и широкой скамье труп молодого мужчины в военной командирской форме. Там, где сердце, на гимнастёрке была видна небольшая тёмно-красная вмятина; это был самоубийца. Меня поразило, что лицо у него спокойное, будто он о чём-то задумался во сне.

Потом меня повели в более обширное помещение, где лежали мертвецы, а затем — в ещё более просторное. Там на столах лежало несколько трупов, их оперировали студенты и студентки. Возле одного покойника стояли две девушки — и обе с

папиросами во рту. Но пахло там не дымом, а чем-то совсем другим. В общем-то неожиданно страшного впечатления всё это на меня не произвело, ведь по книгам я уже имел представление о моргах, о прозекторских, о труде медиков. Да и сам я в детстве, ещё в Старой Руссе, вместе с отцом посетил небольшой морг. Так что, Левушка Мюллер зря старался, организовав для меня эту экскурсию. Не она оттолкнула меня от мединститута.

Учиться на врача я не стал потому, что к стихам меня тянуло больше, нежели к медицине. Постепенно врачебные замыслы мои остыли, сошли на нет. А вскоре рабфак с родного моего Васильевского острова перевели в новое здание на углу Садовой и проспекта Майорова, и это был для меня предлог, чтобы бросить учёбу, забыть о мединституте. Я уже позже понял, что врач из меня — как боксёр из безрукого и как футболист из безногого. Мне очень повезло, что я не стал медиком, но ещё больше повезло больным.

X X X

А ведь какие-то докторские, лекарские гены во мне, быть может, и есть. Я уже упоминал о том, что мой предок по материнской линии Пётр Иванович Линдестрем (1764-1841) был врачом. Притом не простым, а придворным, то есть лейб-медиком. На этом поприще он дослужился до большого чина; умер в звании тайного советника. Известно, что он лечил побочного сына цесаревича Константина Павловича. В октябрьском номере журнала «Русская старина» за 1908 год опубликованы два письма цесаревича, адресованные П.И. Линдестрему. Им предшествует небольшая статья историка М. Соколовского. Процитирую два абзаца из этой статьи:

«В семейных бумагах контр-адмирала В.В. Линдестрема хранятся в настоящее время подлинные письма Цесаревича Константина Павловича к известному врачу, лейб-медику, Петру Ивановичу Линдестрему, впоследствии тайному советнику. За 1812 г. таких писем сохранилось двадцать. Все они писаны собственноручно Цесаревичем, носят искренний, сердечный характер и доказывают те тёплые чувства, которые питал Константин Павлович к Жозефине Фридрихс и её сыну, и ту степень доверия и расположения, которою пользовался у Цесаревича П.И. Линдестрем. Часть писем писана во время нахождения в армии, при Цесаревиче, Жозефины Фридрихс; сын её оставался в Петербурге; за это время Цесаревич в своих письмах уполномачивал Линдестрема заверить маленького Павла Константиновича в любви к нему его родителей.

Для обрисовки личности Константина Павловича письма его к Линдестрему имеют несомненный интерес. К сожалению, они в общем довольно однообразны. Ниже приводятся, с любезного разрешения контр-адмирала В.В. Линдестрема два письма Цесаревича к его деду».

Далее следуют эти письма. Писались они на французском языке, поэтому дан и французский их текст, и русский. По-русски читаются они так:

1

(Перевод). Передайте мой привет, дорогой Линдестрем, нашему дорогому маленькому Павлу. Скажите ему, что мать и отец чувствуют себя очень хорошо и что они от всего сердца его обнимают. Мой привет Опочинину и Клейнмихелю, равно как англичанке и детям. Относительно Вас, дорогой друг,

надеюсь, что Вы, так же как все Ваши, здоровы и что в эту минуту Вы уже в Стрельне. До свидания, мой дорогой. Г-жа Фридрихс Вам передаёт тысячу любезностей.

Весь Ваш
Константин Видзи
14 мая 1812 г.

2

(Перевод). Благодарю Бога, я здоров, дорогой Линдестрем, и надеюсь, что и Вы здоровы. Г-жа Фридрихс должна была уже прибыть в Стрельну. Я Вам её поручаю; позаботьтесь о ней, это будет новым знаком Вашей любезности ко мне. Обнимите от меня дорогого Павла; как мне хочется его снова увидеть. Скажите, что я постоянно думаю о нём. Мой привет англичанке и детям, а также Опочинину и Клейнмихелю. Не забывайте меня и будьте уверены в моей преданности. Всегда Ваш всем сердцем

Константин
5 июля 1812 г.

В той же «Русской старине» в N 10 за 1910 год тоже напечатаны письма Цесаревича, адресованные П.И. Линдестрему. Их — три, а предваряет их статья того же М. Соколовского. Вот несколько строк из этой статьи:

«...Семейное предание сохранило сведение, что известный врач, лейб-медик Пётр Иванович Линдестрем принадлежал к масонству. Факт этот очень любопытен, если принять во внимание то доверие, которым пользовался П.И. Линдестрем со стороны Цесаревича Константина Павловича, тоже масона».

А теперь — одно из трёх писем.

(Перевод). Так как война началась, то я отправил г-жу Фридрихс через Люцен и Остров на Псков. Так что посылайте ей теперь известия о маленьком сыне туда, по адресу: экипаж Его Высочества Цесаревича. Чувствую себя хорошо. Скоро начнутся военные действия. Дай Бог, чтобы всё шло хорошо. Мы сосредоточиваемся в тылу армии. Всё идёт хорошо и пойдёт ещё лучше. Поцелуйте Павлика от меня и скажите ему, что нет на дню такой минуты, когда бы я не думал о нём и о его доброй прекрасной матери, которую я люблю всем сердцем. Передайте привет Опочинину и Клейнмихелю.

Целуя вас от всего сердца, мой дорогой Линдестрем,

весь

Ваш Константин

Свенцяны, 16 июня 1812 г.

P.S. Сегодня утром корпус нашей армии вошёл в Ливонию.

...В оригинале я писем этих не видел, да и от старших ничего о них не слыхал. Узнал о них, можно сказать, чудом. В 1976 году впервые была опубликована моя автобиографическая повесть «Имя для птицы», где я коротко упомянул о своём пра-прадеде П.И. Линдестреме. Когда повесть эту прочёл ленинградский писатель-историк Сергей Сергеевич Тхоржевский, то позвонил мне и сообщил об этих письмах и где они были напечатаны. У Сергея Сергеевича очень доброе и чуткое отношение к своим собратьям по перу. А эрудиция и память у него — изумительные. Мы все ищем чудес где-то на стороне — в вымыслах, в фантастике — и порой не замечаем, что рядом с нами живут люди-чудеса.

Друг и наставник

Илья Яковлевич Бражнин умно и умело руководил литгруппой при «Смене», я многим ему обязан. Единственный его недостаток заключался в том, что он был не поэтом, а прозаиком. А я в те годы о прозе своей ещё и не помышлял. И вот судьба послала мне поэтического наставника, настоящего поэта. То был Александр Гитович. Он стал мне наставником на всю мою жизнь. Его уже много лет нет на свете, а он всё мой наставник и друг. Когда приходится мне решать какие-нибудь трудные вопросы, я всегда думаю: а как бы он в таком случае поступил? И стараюсь в меру своих умственных и душевных сил быть подобным ему. Это не слепое подчинение, это — беседа с мудрым другом. Подчиняться он не умел, и в других не терпел подчинённости. Мы с ним часто спорили.

И знакомство наше с ним началось, можно сказать, со спора, вернее сказать, то был даже не спор, а критический разнос. В 1936 году Гитович однажды пришёл в «Смену» на нашу литгруппу. В тот день читали свои стихи Анатолий Чивилихин и я. Потом началось обсуждение. Товарищи по литгруппе сказали в наш адрес немало дружески-язвительных слов, а затем слово взял Александр Ильич Гитович — и такое сказал, что хоть всю жизнь больше сттихов не пиши. Однако когда мы с Анатолием в редакционной раздевалке надели пальто и готовы были выйти на улицу, Гитович подошёл к нам, дал свой адрес и пригласил нас в гости. А жил он в доме N 9 на набережной канала Грибоедова, в так называемой надстройке. Там на старом трёхэтажном доме добротной питерской кладки в конце двадцатых годов были надстроены два этажа для писателей. Они — в шутку — именовали это здание «недоскребом», — в том смысле, что хоть оно и стало выше, но небоскрёба всё-таки не получилось. Много литераторов обитало в том доме, да и сейчас немало их там живёт, — но в первую очередь знаменит этот дом тем, что жил в нём Михаил Зощенко.

Люблю его рассказы! Некоторые строки из них — наизусть знаю. Как тонко, как великолепно чувствовал он русский язык! В этом отношении у него была прямо-таки гоголевская хватка. После революции многие писатели писали по-новому, но строй их речи оставался прежним. А Зощенко уловил нечто неуловимое — и создал свой язык на основе естественной народной бытовой речи. Именно поэтому он, как никто другой, сумел воплотить в послереволюционной русской прозе быт двадцатых годов так явственно, так неподкупно-правдиво. Гениальное чувство языка!

А надлитературные властелины обвиняли его в клевете на действительность!..

В той же надстройке в послевоенные годы жил Всеволод Рождественский, редактор моей третьей книжки стихов. Вторая моя книжка — «Защита» — вышла в блокадном Ленинграде в 1943 году, а третья — «Пригород» — увидела свет в первом послевоенном, 1946-м. Всеволод Александрович — поэт, породнивший в своём творчестве акмеизм с классицизмом, обладал тонким вкусом и многолетним поэтическим опытом. При всём своём добром отношении ко мне, он забраковал несколько моих стихотворений — и спасибо ему за это. Не будь его редактуры, книжка получилась бы немного толще и намного хуже. Друзья мои считали, что «Пригород» — книжка удачная.

Удачная-то удачная, да вышла она в неудачное время. Некоторые критики и поэты начали ругать меня в печати и на собраниях за аполитичность, за упадничество, за то, что я в своих угрюмых виршах ложно отражаю нашу действительность. А потом началась борьба с космополитизмом, меня из-за моей немецкой фамилии к евреям причислили — и ещё злее ругать стали... В марте 1949 года в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья «На ложном пути». Больше всего досталось в ней Александру Гитовичу и Владимиру Лифшицу. И обо мне там много недоброго было сказано, вот цитата оттуда: «Творчество В. Шефнера не однажды осуждалось в нашей печати как ущербное, подверженное тлетворному влиянию декаданса. В своей послевоенной книге „Пригород“ В. Шефнер предстаёт перед читателем не современником великой эпохи, а упаднически настроенным отщепенцем...»

Больше всего меня встревожило то, что я — отщепенец. Это словечко, приклеенное к моему имени, таило в себе реальную опасность. Я сжёг адресованные мне письма, годами хранившиеся у меня, сжёг и дневник, — чтобы не подвести друзей и знакомых, имена которых я упомянул в своих записях. Теперь я очень жалею об этом, но ведь тогда всякое могло случиться...

...Через несколько дней после приглашения мы с Анатолием Чивилихиным явились к Александру Ильичу Гитовичу в его маленькую квартирку, где он обитал со своей женой Сильвией Соломоновной Левиной. Ясное дело, мы притащили с собой по кипе своих творений и начали зачитывать ими хозяина. К Чивилихину Александр Ильич отнёсся, помнится, мягче, а мне досталось очень крепко — за ложные красивости стиля, за сентиментальную банальщину, да и просто за малое умение. По сравнению с его критикой наша литгрупповская критика была хоть и колючей, но всё-таки более безопасной. А тут я попал под

такую бомбёжку, что еле ноги унёс. Ушёл с обидой на Гитовича. Но то была целительная, нужная обида. Вернувшись к себе на Васильевский остров, я перечитал заново свои бессмертные творения, пораскинул умом — и обиделся уже на самого себя: действительно, стихи-то не того... И меня потянуло к этому человеку.

С тех пор я часто бывал у него. Позже стал членом «Молодого объединения» при Ленинградском союзе писателей — вёл его Гитович. И он же стал редактором моей первой книги. Когда она вышла в свет, Александр Ильич сказал сочувственно: «Поздненько вы свою книгу издали...» Было мне тогда двадцать пять лет, но для людей его поколения издаться в таком возрасте считалось «поздненько». Сам он печататься начал в юношеские годы, а первая книжка его стихов вышла в 1931 году, когда ему было двадцать два.

X X X

Он любил ездить. Когда я познакомился с ним, за плечами его были и Север, и Средняя Азия. Он не гнался за дорожными удобствами, он был не туристом, а путешественником. И из своих странствий привозил не сувениры и цветные буклеты, а глубокие жизненные наблюдения, которые потом органично входили в его поэзию.

Довелось и мне немного попутешествовать с ним. В начале июня 1939 года он, его друг — писатель Михаил Макарович Марьенков — и я отправились из Ленинграда в плавание по Мариинской водной системе на барже-нефтянке. Баржа шла порожняком в небольшом караване, ведомом буксирным пароходиком. Мы замыкали караван. Баржа была огромная, железная, и на палубе — два деревянных домика, где обитали водоливы (так тогда именовали речников, которые работали на баржах). К ним нас и подселили. Оба водолива — и Пётр Лукьянович, и Гриша — оказались очень интересными собеседниками. За время плавания мы узнали от них множество речных историй и частушек. Частушки были главным образом вологодские и рыбинские. Некоторые помню и сейчас, но цитировать здесь не решаюсь; мне почему-то запомнились самые непристойные.

Из нас троих больше всех по душе водоливам пришёлся Гитович. Он удивительно легко сходился с людьми. Он нисколько не подстраивался к чужим мнениям и характерам, не подыгрывал им — он просто всегда и со всеми оставался самим собой. Но, видно, это-то в нём и привлекало. Он был строг к другим, но за этой строгостью ощущалась ещё большая строгость к самому себе. То была не угрюмая, не брюзгливая строгость. При всей серьёзности своего отношения к жизни и к поэзии Александр Ильич был человеком весёлым. У него был весёлый ум. Не шутовской, не скомороший, не бодряческий, а именно весёлый. Он не был юмористом, он писал о серьёзном — и всерьёз. Но, быть может, именно здесь-то и необходимо то чувство юмора, которым обладал Гитович. Чем серьёзнее, чем трагичнее порой творческий замысел писателя, тем тоньше у него должно быть это чувство. Быть может, «серьёзным» поэтам и писателям оно даже нужнее, чем юмористам.

...Не забуду Белозерского (не путать с Беломорским!) канала. Мы шли по нему ночью. С обоих берегов свисали ветви черёмухи, на обоих берегах вовсю заливались соловьи. Нам было не до сна — грех спать, когда кругом такое... Вытащив из палубных

надстроек какие-то ящики, мы снесли их на корму и просидели там до утра. В те годы я был очень скор на стихи и тут же при свете белой ночи (а была она, пожалуй, даже посветлей наших питерских ночей) набросал стихотворение в своей записной книжке. Начиналось оно так: «Белой ночью мы шли Белозерским каналом...» И, конечно, немедленно прочёл его вслух.

— Плохо от первой буквы до последней точки, — высказался Михаил Марьенков. — Это на уровне вашего поварского горохового искусства. (Обязанности кока исполнял главным образом я, готовя на примусе нечто среднее между супом и кашей из запасённого нами гороха.) Далее последовал очень доказательный разнос моего стихотворения, — такой, что мне стало совестно за своё скоропалительное творчество.

Очевидно, огорчение очень ясно отразилось на моём лице, и Гитович сказал утешающе:

— Да, стихи обо всём этом не получились, но ведь всё это остаётся в силе и может вернуться в них заново, — и он широко обвёл рукой и небо, и оба черёмуховых берега, и светлую полосу воды за кормой.

Кажется, я не сказал о нём самого главного: это был очень добрый человек.

X X X

Современность и своевременность стихов измеряются не годом, стоящим под последней строкой. Поэты уходят, но стихи их остаются. Не смерть приговаривает поэтов к забвению, а сама Её Величество Жизнь, с её стремительным течением, сменами поколений и вкусов. А сколько стихов, сколько книг тихо умирают при жизни их авторов?! Жизнь ведёт жестокий отбор — но она справедлива в своей жестокости. Она строга к поэтам — но добра к читателям.

Стихи Александра Гитовича и в наши дни современны, ибо они мужественны.

Приобщение к мужеству, к духовной стойкости всегда облагораживает человека, обогащает его душу. Оно необходимо людям не только в военное время. Быть мужественным — это значит быть честным. К этому и призывает поэзия Гитовича. Но призывает негромогласно, без биения себя в грудь, никогда не впадая в краснобайство и суесловие. Мужественность поэзии Александра Гитовича имеет глубинные корни. Она рождена раздумьями поэта о своём веке и о себе. Она опирается на весь его жизненный и творческий опыт. Она правдива и невелеречива — и именно потому действенна.

У него есть такие строки:

Я повторяю:
Надо жить на свете,
Чтобы учиться,
А не поучать.

И он не поучает. Он беседует с читателем на равных, как с умным, добрым, но строгим и взыскательным в своей доброте собеседником.

Приобщение к профессии

В 1938 году Анатолий Чивилихин и я из литгруппы при «Смене» перешли в литгруппу при Ленинградском союзе писателей, организатором и руководителем которой стал Александр Ильич Гитович. Эта литгруппа первоначально называлась Центральной поэтической группой, но вскоре — не официально, а как-то само собой — произошло переименование, и она стала Молодым объединением. Об этом объединении, о его благодетельном влиянии на мою литературную судьбу весьма правдиво и обстоятельно повествует литературовед Игорь Кузьмичёв в своей книге «Вадим Шефнер. Очерк творчества». Критик Дмитрий Хренков, фронтовой друг Гитовича, тоже немало места уделил Молодому объединению в книге «Александр Гитович. Литературный портрет». В ней очень подробно описана работа Гитовича с молодыми поэтами и его дружеская забота о них. Поскольку существуют две эти книги, то я, говоря здесь о Молодом объединении, постараюсь не вдаваться в излишние подробности.

Я не помню поимённо всех молодых поэтов, которые посещали собрания Ммолодого объединения, и перечислю здесь только тех, которых я знал лично и которых и поныне хорошо помню. Это — Эрик Горлин, Владимир Зуккау-Невский, Анатолий Клещенко, Алексей Лебедев, Владимир Лифшиц, Елена Рывина, Иван Фёдоров, Глеб Чайкин, Анатолий Чивилихин, Борис Шмидт, Павел Шубин. Самым молодым из них был Иван Фёдоров. Очень талантливый человек. Он погиб на фронте в 1942 году.

Не вернулся с войны и Алексей Лебедев, поэт-моряк. Погиб в подводной лодке в 1941 году. Стихи его, слава Богу, время от времени издаются, да и воспоминания о нём в печати иногда появляются. И уж моряки-то его во веки веков не забудут, — неспроста в Кронштадте улицу его именем назвали... А я помню его не только как прекрасного поэта, но и как человека с очень добрым умом; он умел утешить шуткой. Однажды я пожаловался ему, что ни разу в дальнем морском плавании не был, живу, как сухопутная крыса, а ведь оба деда моих моряками были, до адмиральских званий дослужились. Алексей мне ответил на это, что я в поэтическом океане без руля и без ветрил плаваю, и ежели не утону, то причалю к острову по имени Удача, — оттуда открыты пути во все настоящие океаны, и в Тихий, и в Атлантический, и вообще куда угодно.

...Самым «взрослым» поэтом в Молодом объединении был Владимир Лифшиц. Его книга стихов «Долина» вышла в 1936

году. Он уже был известен многим читателям, и не только взрослым. Он и детские стихи писал, и печатали их охотно. В его стихах была какая-то мудрая весёлость. Некоторые писатели его недолюбливали и побаивались: у него было острое перо, он и стихотворные фельетоны писал, и пародии. А ещё была у него способность изрекать неожиданные двустишия. Однажды сидим мы в ресторане Дома писателей втроём: он, Чивилихин и я, пьём что-то спиртное, едим что-то мясное, — и вдруг Володя произносит:

Быку ножом под сердце дадено -
И нет быка, а есть говядина.

Потом, после короткой паузы, сообщает:

Овца была смертельно ранена, -
И нет овцы, а есть баранина.

Владимир Лифшиц — участник обороны Ленинграда. Его волнение, внушающие веру в победу стихи не только в армейской газете печатались, но и звучали по радио. Многим памятна его блокадная «Балада о чёрством куске». Она вошла во все послевоенные антологии.

Умер он в Москве в 1978 году.

X X X

На наши творческие сборища приходили и «сменовцы», и члены других литературных групп. О поэтическом семинаре Гитовича знали в Ленинграде очень многие начинающие поэты.

И не только начинающие. Раза два посетил наши занятия Михаил Лозинский и поведал нам о том, как он переводит Данте. Михаил Зощенко тоже бывал на наших поэтических совещаниях, внимательно слушал наши споры, а спорили мы при нём отчаянно, не щадя друг друга, но не становясь из-за этого врагами. Не раз повидали мы и Юрия Тынянова. Он очень дружественно относился и к Гитовичу, и к Молодому объединению. Ему импонировало наше стремление (пусть и не всегда удачно нами осуществляемое) к классическому строю стиха. За это он окрестил нас архаистами. Но архаистами со знаком плюс! А некоторые критики уже вовсю клевали нас как архаистов со знаком минус. Это за то, что мы не хотели учиться у Маяковского. Ведь в те годы молодым поэтам полагалось учиться только у него. Для литературного и надлитературного начальства он был главным поэтом, поэтом, ниспосланным свыше (не в небесном, а в административном смысле). Конечно, мы не отрицали, что поэт он очень сильный, очень современный, — но одновременно считали, что есть и другие поэты, у которых мы имеем право учиться...

Помню, побывал на одном нашем собрании и любимый всеми нами Николай Заболоцкий. Ради него устроили мы нечто вроде поэтического парада: каждый прочёл по одному, а то и по два стихотворения, а потом слово взял сам Николай Алексеевич. О стихах наших отозвался он дружественно, он явно симпатизировал Гитовичу и нам. А через двадцать лет и мне довелось сказать о нём несколько слов. В октябре 1958 года я поехал в Москву на его похороны, на гражданской панихиде в Союзе писателей СССР выступил с небольшой прощальной речью. Оратор из меня — никудышный, выступать с речами не люблю и не умею, но тут в душе моей произошла какая-то вспышка горестной энергии, — и говорил я, кажется, не хуже других. Стержнем моего выступления были слова Блока о том, что у подлинного поэта нет карьеры — есть только судьба, и что горестная судьба Николая Алексеевича Заболоцкого не сломила его творческого благородства.

X X X

Несколько раз на занятиях нашего объединения присутствовала Анна Андреевна Ахматова. О ней хочу здесь рассказать подробнее. Некоторые её стихотворения я запомнил наизусть ещё в школьные свои годы, хоть в школе её тогда «не проходили», вовсе не упоминали о ней. Ведь даже Блок тогда числился в декадентах, и только благодаря своей поэме «Двенадцать» удостоился включения в школьные программы, а Есенин классифицировался как поэт сугубо кабацкий. Зато в великом педагогическом почёте был Демьян Бедный, его «Главную улицу» надо было учить наизусть, а то «неуд» заработаешь. Тем не менее, ни Блок, ни Есенин, ни Ахматова у читателей в загоне не были, и официальное невнимание только обостряло интерес к этим поэтам.

Личному знакомству с Анной Ахматовой я всецело обязан Александру Ильичу Гитовичу. А до этого была первая встреча с ней. Ещё не знакомство, а лишь лицезрение, созерцание. В конце 1938-го или в самом начале 1939 года мы — члены Молодого объединения — обсуждали стихи молодого поэта и прозаика Глеба Чайкина. Происходило это, как обычно, в Мавританской гостиной Дома писателей, но вечер тот был необычный, ибо на нём присутствовала Анна Ахматова, и я впервые увидал её. Сидела она справа от входа рядом с Еленой Рывиной, — и весьма далеко от меня, чему я в глубине души был даже рад. Ведь очутись я рядышком с ней, неизбежно пришлось бы обменяться хотя бы одной фразой, хотя бы единым словом, и я от почтения к поэтессе, от робости, от смущения обязательно ляпнул бы ей что-нибудь бестолковое, неумное — и навеки стал бы для неё дураком отпетым.

Ушла она с обсуждения незадолго до его окончания, но успела сказать несколько слов о стихах Глеба Чайкина. Что именно она говорила — не помню, но запомнил мягкость её оценки и доброжелательность её тона. Меня это тогда удивило. Мы не щадили друг друга, а уж ей-то и карты в руки, она с высоты своего творческого опыта могла разбомбить любого из нас, в том числе и Глеба, однако не сделала этого. И притом в её словах не было никакой надменной снисходительности, — нет, она говорила о Глебе, как поэт о поэте, как о человеке талантливом. Да таким он и был.

До того дня я считал, что Ахматова должна выглядеть весьма пожилой. Я помнил её лицо по какому-то давнему фотоснимку и подсознательно делал поправку на ход времени, на неизбежное

старение. Ведь мне-то в описываемый мной вечер было двадцать с небольшим, а в таком возрасте мы склонны всех, кто старше нас, зачислять в старики. И вот, когда я увидел её в Мавританской гостиной, я был как-то странно, как-то празднично удивлён тем, что на самом-то деле она вовсе не выглядит пожилой, что она почти не обогнала во времени свою давнюю фотографию.

Ещё осталось у меня с того дня такое впечатление от Ахматовой: она вроде бы как все, она не стремится быть не как все, она нисколько не кичится своей известностью. Однако есть в ней какая-то естественная, благородная автономность, не отгораживающая, но отличающая её от других; автономность, которую она, наверно, и сама не осознаёт, которая прорастает из тайных глубин её характера.

Такие впечатления остались у меня от первой встречи с Анной Ахматовой. А познакомился с нею я уже после войны, и опять-таки через Александра Гитовича. И вообще не раз получалось так, что встречался я с нею благодаря ему и в его присутствии. В послевоенные годы, и особенно последние пять-шесть лет своей жизни, Ахматова с ним дружила. Она уважала его и за неподкупную прямоту суждений в их спорах (а спорили они часто), и за стихи его, и за доброе его отношение к людям, за бескорыстие. В 1960-е годы их дружескому общению способствовала территориальная близость: в Комарове есть участок, на котором построено несколько казённых (литфондовских) дачных домиков; с 1961 года один из таких домиков занимала Анна Андреевна, а Гитович и жена его Сильва жили неподалёку. Я, частый обитатель комаровского писательского Дома творчества, не раз ходил в гости к Гитовичу, и иногда наши встречи становились и встречами с Анной Андреевной.

Меня не удивляли её редкая память и начитанность. Само собой разумеется, что классику она знала досконально, знала и поэзию предреволюционную, — ведь она, Ахматова, и сама пришла к нам из «Серебряного века» русской поэзии. Но поражала меня её осведомлённость, её молодая заинтересованность поэзией текущего дня, стихами начинающих поэтов, порой ещё совсем малоизвестных, только начинающих печататься. Суждения её были точны и кратки, в них почти всегда ощущалась доброжелательность. А вообще-то в разговорах о поэзии она была порой остра, резка, но эти острота и резкость были, как правило, направляемы ею на самую суть спора, а не против того, с кем спорила.

...Стихи её теперь знают все, кто знает и любит русскую поэзию. Этот её дар — с нами. Он жив, он не покинет живых, он

передаётся от одного поколения другому. Но был у неё и ещё один талант. Он навеки ушёл от нас. Это — удивительное богатство её устной речи, богатство словесное и интонационное. В споре, в обыденном разговоре она умела выражать свои мысли удивительно точно, просто, естественно — и в то же время многозначительно, с многогранным глубинным подтекстом. И это независимо от того, о чём шла речь — о чём-либо важном, значительном или о второстепенном, мелком, бытовом.

Помню в 1952 году побывал я у неё — опять же вместе с Гитовичем — в доме на улице Красной конницы. Разговор у Анны Андреевны и Александра Ильича шёл, как мне помнится, о китайской поэзии и о переводах с китайского. Потом, когда зашла речь о поэзии я сказал, что в Пастернака мне дороже всего его стихотворение «Как в пулю сажают вторую полю...», но Мандельштам — в целом — мне ещё дороже, ибо во всех его стихах, явно или подспудно, неизменно чувствуется питерская интонация. Выслушав, Анна Андреевна молвила, что это хорошо, когда человек (в данном случае — я) любит свой город, но всё-таки в таком моем топографическом подходе кроется недооценка творчества обоих поэтов. Ведь каждый из них несёт в себе свой мир, и территория этого мира не ограничивается той местностью, которая отражается в их стихах, и той поэтической школой, к которой каждый из них принадлежит.

Однажды я был у Ахматовой и в Фонтанном доме, и тамошняя её квартира запомнилась мне каким-то стойким неуютом, да и год был неуютный. Здесь же, на улице Красной конницы, жильё её показалось мне более обжитым, ощущалась более прочная налаженность быта. И вот когда мы с Александром Ильичом собрались уходить, я, желая сделать хозяйке приятное, указал рукой на потолок комнаты, где по штукатурке вились какие-то незатейливые лепные узоры, и заявил, что это — настоящая петербургская квартира.

— Да, — задумчиво согласилась Анна Андреевна, — ведь когда-то здесь жили петербургские извозчики.

Она сумела вместить в эту короткую фразу и грусть, и силу своего гордого сопротивления неправедной судьбе, и лёгкую, беззлобную иронию по отношению ко мне, к моему неуклюжему комплименту.

...В другой раз Анна Андреевна «подкусила» меня построже и пообиднее. То было летом 1959 года, когда она жила в комаровском Доме творчества и отдельный литфондовский домик ещё не был ей выделен. Тем летом я однажды в саду возле столовой спросил её, зачем это она сказала о Блоке, что он «трагический тенор эпохи», ведь слово «тенор» не очень-то ему

подходит.

— Это мне уже многие говорили, — спокойно, констатирующе ответила она. Ответила вроде бы без обиды, но по каким-то тончайшим звуковым колебаниям я понял, что этот вопрос ей неприятен и под «многими» она подразумевает людей, не шибко разбирающихся в её поэзии. Тут я должен признаться, что и поныне мне кажется, что слово «тенор» не раскрывает творческого величия Блока.

Но были в Доме творчества разговоры и более приятные для меня, и более длительные, нежели тот, о Блоке. Один из них довольно чётко запечатлелся в моей памяти. Однажды я стал доказывать Анне Андреевне, что Бенедиктов — поэт, недооценённый его современниками, да и наше время его мало знают, и плохо понимают. А ведь он, ежели вдуматься и вчитаться, был предшественником символизма. И даже более того: он сумел, так сказать, перепрыгнуть через символизм, в его стихах есть какая-то инфернальность, роднящая его с нашим нынешним днём.

В ответ на это Ахматова высказалась в том смысле, что к Бенедиктову она относится несколько строже, нежели я, но признаёт, что для моего поколения он, быть может, и вправе казаться таким, каким представляется мне.

И ещё одно моё впечатление — очень значительное и тоже связанное с Домом творчества. Однажды в комнату N 36, где я обитал, постучался Гитович и повёл меня с третьего этажа на первый к Ахматовой в гости. Здесь, в комнате N 12, очень светлой (две её стены состоят сплошь из окон), Анна Андреевна стала читать нам «Реквием». Сама она читала не всё; часть «Реквиема» по её машинописной рукописи прочёл Гитович. Я слушал не шевелясь, но сознание значительности и необыденности происходящего порой затмевали для меня поэтическую силу и значимость самого произведения; к тому же стихи я полнее воспринимаю не слухом, а зрением. Поэтому, когда Александр Ильич закончил чтение, я попросил у Анны Андреевны рукопись и, сидя в кресле, впился в текст глазами (точнее — своим единственным зрячим глазом). Когда прочёл — ничего не сказал. Понимал, что тут самые высокие похвалы прозвучали бы банально и никчёмно.

X X X

Из года в год хоть один, хоть два летних месяца я обязательно провожу в Комарове, в тамошнем Доме творчества. И часто, когда я шагаю по привокзальной улице, люди, только что сошедшие с электрички и, очевидно, по неспешной моей походке угадывающие во мне здешнего старожила, обращаются с вопросом: «Как пройти на кладбище?» Или: «Как пройти к могиле Ахматовой?» Или ещё проще: «Скажите, как пройти к Ахматовой?» Идут группками, идут по двое, реже — поодиночке. Некоторые — с цветами. Идут к могиле Анны Ахматовой, ибо чтут её как живую, ибо жива её поэзия. Подлинным поэтам не страшны прижизненные судилища. Их судит сама Эпоха — и воздаёт должное.

Жизнь была к ней несправедливо строга. Но сама к себе Ахматова была ещё строже — и своими стихами, своей непобедимой творческой честностью она подчинила себе свою судьбу, восторжествовала над ней.

X X X

Летом 1966 года мы с женой сняли дачу (точнее — комнату) недалеко от Луги, в посёлке Мерёво. Там мне 8 августа, под утро, приснился странный сон. Содержание его я забыл сразу же при пробуждении, но отлично помню, что в самом конце этого сна вокруг моей левой руки, у самого запястья, обвилась маленькая змейка. Она не ужалила меня, а обожгла мне руку, — из-за этого я и проснулся. На коже был красноватый след ожога. Он быстро исчез. Этот сон, вернее — след от сна, меня озадачил. А жена сразу же сказала, что эта змейка — не к добру.

На другой день мы — жена, я и сын — с утра пошли в лес. Когда вернулись, то хозяйка дачи вручила нам телеграмму, которую местная почтальонша принесла во время нашего отсутствия. На бумаге в клеточку (из школьной тетради) карандашом было написано, что умер Александр Ильич Гитович. Телеграмма была от его жены Сильвы.

Приехав на похороны, мы узнали, что над Карельском перешейком, а значит и над Комаровым, где в дачном домике жил Александр Ильич, пронёсся ураган, и многие даже вполне здоровые люди в тот день себя плохо чувствовали. А у Гитовича было больное сердце, и произошёл у него смертный сердечный приступ...

Похоронили Александра Ильича Гитовича на Комаровском кладбище. Могила его — почти рядом с могилой Анны Ахматовой.

X X X

На том же Комаровском кладбище, недалеко от могил Ахматовой и Гитовича, — могила Анатолия Клещенко. Родился он в 1921 году, умер — в 1974-м. Из пятидесяти трёх лет своей жизни шестнадцать лет провёл он — по доносу — в тюрьме, в ссылке на Северном Урале и в Красноярском крае. Но за свою жизнь, хоть и была она укорочена злобной судьбой, он успел проявить себя и как душевно смелый поэт, и как талантливый прозаик. В домашней моей библиотечке хранятся книги Анатолия с его добрыми дарственными надписями. Есть у меня и книга его стихов «Ожидание», изданная через пять лет после его смерти. Я написал предисловие к ней. Заканчивается то предисловие так: «Анатолий Клещенко — поэт самобытный. Он не стал поэтом — он родился им. Стихи его негромки, неброски, но это живые стихи, в них продолжает биться живое сердце поэта, хоть автора их уже нет на свете».

День первой книги

В тот майский день 1940 года вышел я в полдень из дома и по родной Шестой линии направился в сторону Среднего проспекта, который официально именовался тогда проспектом Мусоргского. Целесообразнее было бы мне шагать к Большому (тогдашнему проспекту Пролетарской победы), ведь рельсы с него ещё не были сняты. Но погода стояла отличная, — почему бы и не удлинить свой путь, и сесть на трамвай не на Большом, а на Среднем? К тому же на этом проспекте, кроме прочих торговых точек, приютились и три книжных магазина.

Надо полагать, что логика моя в тот день самовольно ушла в краткосрочный отпуск. Свернув на Средний, я замедлил шаг возле дом N 30 и зашёл в книжный магазин. Там я спросил продавца, есть ли в продаже «Светлый берег», книжка стихов Вадима Шефнера. Ответ букиниста был отрицательный, а по его интонации я угадал, что мою фамилию он слышит в первый раз, что Шефнер, этот всемирно известный пиит, которому при жизни воздвигнуты памятники на площадях городов всего мира, совсем неведом этому тёмному человеку. Выразив на лице удивление, я вышел на улицу и направился к трамвайной остановке.

А ведь заглянул я в тот магазинчик, отлично зная-понимая, что в продажу моя книжка ещё не поступила. Заглянув туда, не то взяв на себя роль своего будущего читателя, не то просто какая-то игривая дурость меня обуяла. Очень уж хотелось мне поскорей узреть свою книжицу на прилавке. Я уже знал, как она выглядит, — видел в издательстве сигнальный экземпляр. Издана она была неплохо: зеленоватый коленкоровый переплёт, хорошая бумага, и набраны стихи елизаветинским шрифтом, — по моей просьбе. В те времена ещё были живы некоторые давние издательские традиции, и авторы могли выбирать тот шрифт, какой им нравится.

На углу Среднего проспекта и Девятой линии я купил пачку «Беломора», подождал, когда подойдёт «четвёрка» — и поехал на Невский. Шестизначный номер вручённого мне кондуктором билета оканчивался тремя пятёрками. То была хорошая примета! Этот счастливый билетик я сразу вложил в записную книжку, а вернувшись домой, упаковал его в станиолевую оболочку от «эскимо» — и стал носить этот подарок судьбы в кармане пиджака на счастье. Я и на войну его с собой взял, носил его в карманах своих гимнастёрок, — сперва солдатской, потом офицерской. Потом вдруг потерял я тот билет-амулет — и вроде бы совсем забыл о нём. Но теперь иногда вспоминаю. Добрые

врачи спасли меня от полной слепоты, но возраст преклонный берёт своё, со зрением дело плохо обстоит. Вся надежда только на то, что какое-нибудь надмедицинское чудо поможет...

Нынче не все помнят, не все знают, что в довоенные годы по Невскому ходили трамваи, а Невский по-казённому именовался проспектом 25-го октября. В 1944 году тогдашние хозяева города одумались, вернули ему, как и некоторым другим питерским улицам, историческое название. Слава Богу! Но трамваев мне жаль. Их изгнали с Невского вскоре после войны. А они Невскому какой-то уют придавали, — или это мне просто чудится, и виновата в том возрастная ностальгия? Ведь в тот день, о котором здесь речь идёт, я именно на трамвае за своим счастьем ехал.

Когда моя «четвёрка» свернула на Невский, я сошёл с неё не на той остановке, где мне нужно было сойти, а поехал дальше, аж до Литейного, а оттуда пешим ходом направился в обратную сторону. Почему я так поступил, точно объяснить не могу. Только помню, что мне хотелось продлить чувство счастливого ожидания, но к этому ощущению приплюсовались и кое-какие другие мысли, в том числе и такая: а вдруг в издательстве мне скажут, что в книжке моей неожиданно обнаружены политические ошибки, и поэтому она не в книжные лавки, а в утиль пойдёт. Ведь такие случаи уже бывали... Но нет, не могут мою книгу забраковать, ведь она прошла цензуру!

В таком тревожно-счастливом настроении шагал я до Дома книги, который старым питерцам известен как дом Зингера. Поднявшись на третий этаж, где находилось тогда издательство, я без помех получил свои авторские экземпляры, положил их в портфель — и вскоре опять очутился на Невском. Но теперь это был совсем другой Невский! Это был не будничный, это был Праздничный Невский! Он радовался вместе со мной. А я из-за какого-то суеверного опасения старался усмирить свою радость, преуменьшить своё счастье, — и даже пытался грустный вид своей физиономии придать. Мне чудилось, что слишком уж мне повезло, что судьба не прощает людям такой удачи.